Сборник фантастики 1976 - 1977

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В сборник вошли рассказы советских и зарубежных писателей-фантастов, опубликованные в разделе «Клуб любителей фантастики» журнала «Техника — молодежи» за 1976 и 1977 годы, а также очерк, посвященный выходу в свет первого собрания сочинений И. А. Ефремова, и статья-размышление польского ученого о взаимовлиянии науки и фантастики.

- Клуб любителей фантастики
  -
  - 1976, № 1
    -
    - Встреча
    - О преступлениях перед будущим
    - Письмо профессора Зворыкина
    - В преддверии
    - Крылатое утро
  - 1976, № 2
    -
    - ПЕСНЯ ЗВЕЗД
    - АБЭВ
  - 1976, № 3
  - 1976, № 5
    -
    - Два слова о себе
    - Рисунки на стенах канала
    - Секрет электрички
    - Гипотеза Йована Добрича
  - 1976, № 6–7
    -
    - Ода сложности
    - Инфант
    - Приглашаются герои
    - Кролики Инфанта
    - Таблица ролей
    - Необитаемый остров
    - Волетворцы
    - Маскарад
    - Смотря где
    - ППП и ПП
  - 1976, № 8
  - 1976, № 9

- 1976, № 10
- 1976, № 11
- 1976, № 12
- 1977, № 1
- 1977, № 2
- 1977, № 3
  -
  - Дмитрий Шашурин
  - Альберт Валентинов
- 1977, № 4
  - Василий Захарченко
  - Владимир Щербаков
- 1977, № 5
- 1977, № 6
  - Конрад Фиалковский, профессор, писатель-фантаст (Польша)
  - Абдул-Хамид Мархабаев
- 1977, № 7
- 1977, № 8
- 1977, № 9
  - Дмитрий Де-Спиллер
  - Дмитрий Карасев
- 1977, № 10
- 1977, № 11
  -
  - Лживые кванты
  - Монолог Старшего конструктора
  - Эксперимент
- 1977, № 12

- notes
  - 1

Клуб любителей фантастики 1976–1977

Антология

1976, № 1
Владимир Щербаков
КРЫЛАТОЕ УТРО

Рис. Р. Авотина

Владимир Щербаков неоднократно выступал на страницах нашего журнала с научно-фантастическими рассказами, в которых поэзии не меньше, чем науки. По образованию он радиоинженер, кандидат технических наук, работает в одном из московских НИИ.

Владимир Щербаков — лауреат Международного конкурса молодых писателей-фантастов (Варшава, 1969 г.).

Встреча

Выплывая из пространства, не знающего измерений, Корабль сиял, точно комета. Бег новоявленного светила по своду небесному казался тогда не таким уж стремительным, хотя ни одна звезда не мчалась по столь головокружительной орбите.

С роем астероидов проплывал он мимо планет, приближался к ним и удалялся, купаясь в утренних зорях бесчисленных Солнц, которые перевоплощались затем в белые пылинки. Кометные хвосты служили ему маяками при стремительных прыжках на планеты. Потом Корабль исчезал, ныряя подобно дельфину, и, уже невидимый, мгновенно переносился в новые края. И тогда он был похож на пчелу, возникавшую вдруг из венчика звездного цветка. После каждого витка в его просторных вместилищах оставались частички другой жизни, собираемые столь бережно, что это бесспорно, еще больше роднило его с пчелой, охотящейся за нектаром. Так составлялась коллекция космического музея Корабля: его экспонаты предназначались для планетной системы двойной звезды в соседнем с нами секторе Галактики.

В круглом зале на стереоэкране можно было увидеть все богатства, собранные за долгие годы. Оценить их по достоинству могли только посвященные. Один шанс из миллиона за то, что будущим разведчикам звездного океана удастся хотя бы сфотографировать космического дракона, чешуйчатые крылья которого ловят лучи, как паруса — ветер. Но в святая святых Корабля — в его хранилище, — прикрыв горячие огни глаз тяжелыми бронзовыми веками, спокойно дремала эта живая космическая редкость, которую не спутаешь ни с кем и ни с чем другим даже на обычном цветном фото. И бабочка Кэрмнис, что подолгу греется у зеленых звезд, прежде чем вылететь в просторы вечной ночи, тоже ожидала здесь конца путешествия.

Они были подлинными двойниками эфемерных существ, встреча с которыми Столь редка. Ни одну жизнь нельзя оборвать, любой уголок вселенной был заповедным, и каждый член экипажа, надевая скафандр охотника или исследователя, запасался терпением. И охота эта совсем особая, непохожая на древний промысел, скорее в ней есть что-то от спорта: невидимый луч анализатора переписывает в электронную память форму и цвет, поштучно нащупывая молекулы. Электронный портрет — посредник между оригиналом и копией-двойником. Его потом уничтожают, освобождая ячейки памяти для нового экспоната.

Ждали ли они иных встреч? Теоретически — да. Однако феномен разума и редок, и странен…

А знание приходило к ним многими путями. Истина открывалась порой как бы исподволь, мириады электрических муравьев, дружно взявшись за работу, складывали вдруг великолепные узоры, которые читались, как страницы книг или редкой рукописи.

Через несколько минут после приземления Эрто знал то же, что знают многие из живущих на Земле: сколько времени длится земной год и как рождаются реки, почему зима приходит на смену осени, а потом быстрая легкокрылая весна предваряет летний зной, запахи скошенной травы и жемчуга колосьев; почему веют ветры, как глубок океан, какая сила рассыпала в его просторах ожерелья островов и почему дышат вулканы.

Перед ним раскинулась широкая поляна, окаймленная синим гребнем леса и голубыми столбами воздуха меж облаков. Высоко-высоко над головой говорила о чем-то с пролетающими облаками береза, и одна из ее кос дотянулась почти до земли. Растаял порыв ветра — пришла тишина. Вдруг шмель прогудел лениво и, задевая травинки, унесся в зеленую неизвестность.

Черно-белый снимок, запечатлевший здешний пейзаж, наводил бы на мысль о фототрюке, который можно проделать, не пускаясь в столь дальнее путешествие. Почти все здесь напоминало о прошлом и далеком, и, как казалось когда-то, неповторимом. Лишь деревья на Земле были стройнее, листва — светлее, травы — мягче, и лепестки цветов легче и тоньше — они прилипали к пальцам, оставляя душистые влажные следы.

В пяти-шести километрах отсюда (примерно час ходьбы) раскинулся город. Эрто знал, как выглядят прохожие на улицах. Они были такими же, как он. И снова вопрос. А память услужливо подсказывала что-то о единстве разума, о витках времени, повторяющих, развертывающих события, точно кадры разных фильмов, снятых по одному сценарию. Сегодня они покинули Корабль.

Вэлта должна основать исследовательскую станцию где-то здесь, недалеко от города. Через несколько дней она переберется на новое место, потом исколесит немало дорог, прежде чем станет ясно, в каких отношениях с природой, с планетой находится все живущее. Гаяк, наверное, все еще летел на дископлане над безлюдной пустынной частью континента, и невидимые лучи рассказывали ему о сокровищах, скрытых земной корой. Эрто шел в город. Впрочем, он мог бы подъехать и на машине, но тогда ему пришлось бы решать проблему стоянки.

Стекляшка в теллуровой оправе — электронное око крохотного прибора, почти невесомого, — показывала стремительные перспективы городских улиц и аллей, проспектов,

переулков и набережных. Это была космическая явь. Воображение подсказало, как рос этот город, как волна за волной набегавшие события изменяли его древний лик и как все дальше отодвигалась в памяти людской последняя война…

У ног Эрто воробьиная ватага шумливо суетилась в ветоши спутанной травы. На другом краю поляны, под гребнем леса, где тени спустились узкой полосой и накрыли кустарник, своей быстрой походкой шла Вэлта и срывала на ходу стебельки.

— Вэлта! — крикнул он.

«…элта!..» — донесло эхо.

Возникла простая мысль, что очень хорошо, если они будут работать рядом и смогут видеть друг друга, но только почему он не знал этого раньше? Он побежал, забыв на несколько мгновений все то, что он, безусловно, должен был знать. Вэлта даже не обернулась. Остановившись, он с изумлением наблюдал, как ее рука потянулась за цветком. Почти сорвавшееся с его губ имя как бы застыло в воздухе на втором слоге; во всяком случае, девушка, наверное, не расслышала его полностью. Она подняла голову, глаза точно приоткрыли родившееся вдруг любопытство, потом в них сверкнула плохо скрытая улыбка, глаза засветились — и погасли. Через секунду девушка уже шла по тропинке, опустив руки. Медлительные длинные пальцы, взметнувшиеся вверх — к щекам, к волосам — те же, Вэлтины. И две каштановых волны волос над стройной шеей, и линии лица, и, конечно, глаза; но взгляд другой; он непостижимо соответствовал зеленому простору за ее плечами и светлой бронзе рук. Он проверил: включил канал и увидел Вэлту.

— Что случилось?

Ее голос звучал как бы издалека, а лицо было рядом, точно их не разделяли километры. Пуговица-экран вдруг помутнела, покрывшись какой-то электромагнитной плесенью. Между ними шумела над неведомой землей гроза.

— Вэлта, гроза…

— Да, я знаю, это у нас. Что с тобой?

— Ничего. Просто захотелось тебя увидеть.

— Но мы расстались только что, двух часов не прошло!

— Я встретил девушку, очень похожую на тебя. Здесь только что.

— А, вот оно что… — Вэлта улыбнулась.

— И ты думал…

Голос Вэлты растаял. Экран погас. Первый разговор после приземления кончился буднично (она даже не попрощалась) — так же, как сотни разговоров на Корабле, когда их отделяло друг от друга всего несколько метров.

Мистика. Он помнил о Вэлте постоянно, представлял, что она скажет по поводу того или иного его поступка (или поступка других). Но не более. И другая девушка, лишь похожая на нее, но у которой не могло быть ничего от Вэлты, кроме внешнего сходства, вдруг заняла в его мыслях едва ли не большее место. Нет, не было никакого ореола. И в то же время не было сомнений: несколько слов, произнесенных ею на этом чужом пока языке, и движение выпуклых губ, с которых слетали певучие мягкие звуки, заставляли его снова и снова воскрешать чуть скуластое лицо, витающее в россыпи солнечных бликов. Удивительно краток был путь от лесных синих колокольчиков и алых гвоздик, пригретых в ее ладонях, — к сердцу.

…Однажды они долго говорили, и он, кажется, поддавшись какой-то иллюзии, необъяснимому минутному порыву, чуть было не рассказал девушке все. Он произнес уже несколько приготовленных фраз о космосе, о том, что в иных сказках больше правды, чем выдумки, о том, что всегда нужно быть готовым к встрече с неведомым («Ведь это интересно, правда?»). Девушка слушала его внимательно; ему оставалось перекинуть последний мостик от абстракции к действительности — и вот тогда он почувствовал, что не в силах этого сделать.

Девушка ни за что не поверила бы, как не поверили бы многие. Более того, их отношениям, возможно, пришел бы конец. Кто не вправе возмутиться, когда чистый вымысел настойчиво выдают за правду? Он решил: позже.

Пока же она соразмеряла его поступки со своими, но не открыть того, что сокрыто за семью печатями. Ему даже нравилось смотреть на мир ее глазами. Составляя картотеки и отчеты для Корабля, он оценивал события, книги — все, что создавалось человеческой цивилизацией, с точки зрения усвоенных им критериев, профессионально; в разговоре же с ней он мог просто пересказывать все смешное из тех же книг, вышучивать и манеру автора, и попытки объективно разобраться в пирамидах томов и фолиантов, вершины которых продолжали угрожающе быстро возноситься к небесам. Эти две линии почти не пересекались друг с другом и не противоречили друг другу, и это его забавляло.

И все это случилось потому, что тогда, в первый день, он разыскал ее. Утопая в траве на той самой поляне, где так легко прошла она, проскользнув, точно виденье, Эрто водил лучом вдоль дорог и тропинок, пока не нашел ее… Он проводил ее до самого дома и решил, что устроится неподалеку. «Валентина!» — произнес он утром вслух ее имя. Мир за окном был прозрачен, светел и звонок.

Эрто поселился в квартире профессора (хозяин чаще всего был занят на работе, на конференциях, в редакциях и еще бог весть где). В одной из трех комнат он поставил перегородку с помощью сканирующего прожектора дельта-волн, так что она воспринималась как подлинная, реальная перегородка и была тверда на ощупь, точно стена. Чтобы профессор не заметил переустройства квартиры, Эрто чуть сократил размеры других комнат, передвинув временно стены, так что убыль в несколько квадратных метров равномерно распределилась по всей площади комнат и была на глаз незаметна.

Как-то профессор застал его в библиотеке. Эрто разговаривал по телефону с Валентиной и прослушал шаги в коридоре, обычно служившие естественным предупреждением.

Решение нашлось моментально. Вполголоса попрощавшись с Валентиной, Эрто обесточил электрическую сеть (микрогенератор навел в проводниках токи противоположного направления, которые погасили напряжение). В полутьме он вскочил на стул, на минуту осветил квартиру, опять погасил свет и, наконец, при полном сиянии люстр, профессорских бра, настольных ламп и

прочих светильников торжественно провозгласил:

— Готово, товарищ профессор, теперь сеть в полнейшем порядке!

— А что, собственно, случилось?.. — недоуменно спросил профессор (его звали Леонид Александрович, но Эрто раз и навсегда решил во время подобных встреч обращаться к нему сугубо официально).

— Как же так, товарищ Зворыкин! И вы еще спрашиваете… Знаете ли вы, что в вашей квартире минутой позже произошел бы пожар? Розетка греется, и патроны плохие. Вот здесь распишитесь… И в следующий раз сами вызывайте нас, не дожидаясь, пока сработают датчики, по счастливой случайности проходящие проверку именно в вашем доме и в вашем подъезде. И не заставляйте нас прибегать к крайним мерам.

Сказав это, он удалился, предоставив профессору Зворыкину возможность домыслить случившееся.

Через несколько дней Эрто, работая в библиотеке Зворыкина, обнаружил оставленную на стопе рукопись под названием «Проблема контактов с внеземными цивилизациями». Рукопись являла собой приятное открытие. «Кажется, я явился точно по адресу», — подумал Эрто. Он бегло пробежал рукопись. Это была статья для журнала, и в ней очень сжато излагались взгляды Леонида Александровича на возможности поиска разумного начала в космических безднах. Выходило, что найти его труднее, чем иголку в стоге сена.

О преступлениях перед будущим

Молибдена в земной коре в сотни раз меньше, чем родственного ему элемента никеля, а роль его так велика, что это уже послужило основанием для одной красивой гипотезы, созданной здесь, на Земле. Для профессора Зворыкина и его коллег это была только гипотеза. Для Эрто — факт. Да, химический состав среды отражается в биологическом строении ее обитателей. И содержание молибдена в живых тканях здесь, на Земле, повторяет законы его распространения во многих звездных мирах…

Профессору Зворыкину оставалось сделать еще один шаг. Ведь сама посылка с молибденовой звезды, генетического кода сюда, на Землю, и на другие планеты являла собой блестящий пример контакта. Это, если можно так сказать, материализованная информация уже предполагала развитие разума вполне определенного типа и его носителя — человека, и незачем было посылать радиосигналы. Они не открыли бы ничего нового, если были бы поняты, и не ускорили бы событий. Что может человек открыть в мире такого, что не жило бы уже в нем самом?

Прошло едва больше месяца (сорок два дня, если быть точным), и многое стало для Эрто понятным. Он видел, как ставили вышки первой телевизионной станции в поляре-городе под крышей за шестидесятой широтой, как строили мост через северный пролив — его опоры касались низких северных облаков, а стаи казарок летели под ним, точно видели перед собой дверь, распахнутую прямо в северные раздолья. Он ощущал тревожный ритм гигантских машин, делавших чугун, сталь, прокат, цемент, бумагу, — о них говорили страницы газет, и с ослепительной улыбкой на устах сообщали девушки — дикторы телевидения.

Эрто ощущал ритм, пульс этой жизни, с трудом втискивавшейся в экраны и журнальные полосы, и однажды он поймал себя на желании бросить свои ежедневные занятия в библиотеках и попробовать хоть на один день стать таким же, как все эти люди, которым было дано так много узнать в будущем… Ему хотелось бросить все и заняться хотя бы исследованием арктического шельфа, с тем чтобы кое-что из найденного оставить, подарить этой гостеприимной Земле. Пусть это будет нефть, вольфрам, слюда или олово, разве это не оптимальный вклад в развитие цивилизации вообще и межзвездных связей, в частности?

— Нет, — сказала Вэлта. — Мы поможем им, но не так.

По ее словам, именно тот тип генетического кода, который был общим для них самих и для Земли, предполагал бесконечное развитие разумного начала, но только при одном важном условии: если люди не совершат преступлений перед будущим. Сломанная ветка или убитая бабочка — ничто или почти ничто (тоже преступление, хотя и маленькое, но это преступление не перед завтрашним, а перед сегодняшним днем). А выпитая чугунными глотками заводов река не только исчезает из будущего, но становится началом цепочки необратимых изменений. И океан — колыбель жизни, и суша — зеленое раздолье, вышитый подол цветистого весеннего наряда планеты, неприкосновенны. И все же их коснулись руки, не ведающие, что можно и что нет. Как быть?

— Я думала об этом, — сказала Вэлта, — даже для нас задача непростая… И знаешь, какой есть выход? Он похож на сказку. — Она задумалась, словно пытаясь что-то припомнить. — Да, это сказка из фонда Корабля. О царевиче и сером волке, о живой и мертвой воде. Быть может, ты читал…

— Мне посчастливилось найти эту сказку и много других. Именно я передал их в дар Кораблю.

— Вернулся черный ворон и принес две склянки: одна с водой живой, другая с водой мертвой… Помнишь?

— Еще бы! Это невероятно: угадать секрет живой воды…

— У них была живая вода, Эрто. Наши биологи уверены в этом. Им помогла природа. Благоприятное стечение обстоятельств — и вот случай помог родиться живому ключу, бьющему из-под земли. Быть может, это произошло где-то на Урале, или западнее, — гадать трудно, рассказы превратились в сказки и долго-долго передавались из уст в уста.

— А живая вода?

— Ключ иссяк, ложе ручейка высохло и заросло степными травами — попробуй отыщи заветное место!

— И мы откроем им секрет живой воды?

— У них многое готово, в сущности. Трубопроводы от месторождений нефти и газа тянутся вдоль северных побережий, сворачивают на юго-запад, к истокам больших рек. Со временем эти гигантские трубы будут пусты (строятся и строятся атомные станции!). Вот тогда они и пригодятся… Совсем небольшие добавки микроэлементов — и этого достаточно. Лучше целые реки такой обогащенной воды, чем одна-единственная склянка из сказки.

— Вы предлагаете подавать раствор с микроэлементами по трубам. К самым истокам рек? Это сложно.

— Вот и нет. В морской воде уже есть все микроэлементы.

Стоит добавить к речной воде одну тысячную часть воды полярных морей — и у нее появятся два удивительнейших свойства: прозрачность и способность лучше поддерживать жизнь. Что ты об этом думаешь?

…Едва поддавшись иллюзии, едва уверовав, что она искренне больше всего на свете хотела узнать лишь его мнение и просила об этом — она его! — Эрто вдруг понял истину: она всегда лишь хотела возбудить интерес, любопытство, приобщить его к свершавшемуся здесь, на этой планете, ее руками и руками ее друзей. И сейчас — тоже. И он вдруг понял, что был уже ближе к этому далекому миру, до странности реальному, притягивающему, к согласию с его сегодняшними идеалами, к их приятию, чем к стремлению сделать его похожим на эталон рационального, подсказав готовые схемы.

Чисты, спокойны и четки линии ее лица. Выпуклые губы и чуть впалые щеки воплощали застывшую красоту. Это почему-то вызывало сейчас легкую неприязнь… Лицо Вэлты точно маска. Неведомый мастер будто бы скопировал тончайшие черточки с другого, живого лица, с лица Валентины, глаза которой меняли, казалось, даже свой цвет, и губы дрожали и сжимались от счастья, желаний и стыда, когда звездная россыпь за окном, казалось, тонула в ее зрачках…

Бабочка влетела вдруг в окно, шумно захлопав крыльями, и словно прилипла к стене в затемненном углу.

— Крапивница, — бесстрастно отметила Вэлта. — У нас скоро будет гроза. Этим летом гроз больше, чем обычно здесь бывает.

Эрто накинул плащ, вызвал лифт, спустился на первый этаж, потом, словно вспомнив что-то, поднялся пешком до почтовых ящиков, включил инфракрасный фонарик и просмотрел корреспонденцию профессора. В ящике лежали две ежедневные газеты, брошюра подписной серии «Проблемы изучения космоса» и письмо.

Письмо профессора Зворыкина

«Дорогой Эрто!

Обстоятельства сложились так, что я вынужден уехать в командировку на Памир, где километровое зеркало нашего радиотелескопа поймало сигналы, совсем не напоминающие обычный хаос межзвездного эфира. Да не покажется Вам удивительным и странным, что исследователь, значительную часть своей сознательной жизни посвятивший осмыслению возможности контактов, отбывает в командировку именно тогда, когда соседом его по квартире оказывается представитель иной планетной системы. Я не могу отказаться от участия в конференции, посвященной расшифровке сигналов. Охотно поделюсь с Вами соображениями, касающимися наших личных взаимоотношений. Не буду скрывать, что мое открытие стоило немалого труда и терпения. Иначе и быть не могло, ведь факты, даже самые необычные, должны были толковаться мной совсем в ином духе, причем истинный вариант, казалось, исключался из рассмотрения с самого начала (на что, конечно, и следовало Вам рассчитывать).

Да, я был бы очень далек от истины, как специалист, и ни один коллега ни за что не поверил бы мне (как не поверит и теперь), если бы мне когда-нибудь каким-то чудом удалось подтвердить свои теоретические построения фактами. Это считалось бы почти невероятным совпадением, которое в наиболее благоприятном случае следовало бы подтвердить многократно, сводя таким образом невыполнимую, по существу, задачу к еще более сложной. Но долгие годы во мне жила мечта. Я почти убедил себя, что наш диалог должен носить, если так можно выразиться, деловой характер. И по мере того, как я работал над теорией дальней ненаправленной связи, во мне зрела совсем иная мысль. Я начинал догадываться, что в неоглядных просторах всегда и всюду велся прежде всего поиск себе подобных. И разве Вы задержались бы у нас так долго, окажись Вы или мы другими?

Наверное, эта мысль не нова, но я понимал ее, вероятно, слишком уж буквально. Я пытался убедить одного своего коллегу и друга, что разговор скорее всего начнут специалисты. Он горячо возражал, и в запальчивости я воскликнул: «Да что тут странного, именно так все и произойдет, как я говорю! Да, позвонят по телефону или просто придет человек и начнет разговор. Да, именно ко мне или к тебе, потому что именно мы готовы к этому. Но скорее всего ко мне!»

Это была только мечта. Я прекрасно понимал это. Да и друг тоже понимал. Тем не менее он набросал что-то вроде дружеского шаржа и подарил его мне. На рисунке был изображен молодой человек с чемоданчиком в руке, нажимающий кнопку звонка у двери моей квартиры. Подпись была довольно-таки издевательской. Она гласила (от имени звонившего): «Я-то прибыл, но что делать, если профессора Зворыкина нет дома?»

Это было так давно, что я забыл о дружеской выходке моего коллеги. И никогда не вспомнил бы, не встретившись с Вами. Дело в том, что человек, изображенный на рисунке, в общем похож на Вас. Быть может, это лишь показалось мне. Во всяком случае, после Вашего визита в мою библиотеку я задумался всерьез. Скажите-ка, может ли кто-нибудь отказаться от мечты?

Вот почему я записал Ваш разговор с Вэлтой. Записывающая установка выполнена на грани наших технических возможностей, и Вам легко понять трудности, которые связаны с регистрацией вторичной ионизации в канале. Я вел запись не самих звуков, а их следов (по понятным причинам радиоволны не применялись)… И вот, представьте, после нескольких попыток расшифровал сигналы, пользуясь теми закономерностями, которые мы хотели использовать в том случае, если удастся принять сигналы из

космоса.

Я все больше убеждаюсь, что наша с Вами встреча не случайна. Не исключено ведь, что проблема контактов не имеет, так сказать, регулярной структуры, и для ее решения нужны многие встречи, подобные нашей. Вряд ли кто упомнит все подробности, относящиеся к экспедиции. Я допускаю, что Вы и Ваши коллеги могут остаться в неведении относительно того, какое решение незаметно подсказал мозг Корабля — и почему.

И я тешу себя странной, быть может, мыслью, что письмо мое поможет Вам. Тем не менее я отдаю себе отчет в том, что стремление к прямым контактам зависит не только от нашего и Вашего желания, но и от степени готовности к ним.

Леонид Зворыкин»

В преддверии

Однажды он вызвал Корабль. Ему хотелось поговорить со своими. На Корабле остались лишь четверо — два пилота, капитан и инженер, следивший за маскировкой (статическое поле придало ракете форму копны). Вэлта вот уже неделю работала на новом месте. Это было совсем недалеко, в сорока километрах от города, на берегу Оки. Астроботаник мог лишь мечтать о таком благодатном месте: на приокских террасах сохранилась реликтовая флора, и здесь, точно на полигоне, удавалось проверить новые приборы для наблюдения спектров всего растущего, цветущего, плодоносящего, чем только была богата эта земля.

Установив вариатор, он с нетерпением наблюдал, как оживало стекло, как луч пробегал по темной глади реки, по ее песчаным широким берегам. Луч остановился у домика станции — старой, заброшенной дачи, ветхость которой не вызывала сомнений в том, что она пуста.

— Вэлта!

Луч как бы шагнул к двери, проник внутрь. Вэлта сидела за столом с лампой-анализатором.

— Здравствуй. — Она подняла глаза.

— Я не помешал?

— Нисколько. Я рада.

Он замялся. Перед ней лежали какие-то травинки, былинки, цветы. Их лизали зеленые язычки огня: лампа едва слышно гудела, просвечивая стебельки холодным пламенем. Из нее вылетали пучки искр, пронзавших листья и лепестки, ощупывавших каждую молекулу внутри их и уносившихся к овальному зеркальцу, словно пчелиный рой к улью. Там они отдавали добычу — совсем крошечные схемы, по которым природа строила и строила зеленые ладьи с парусами-листьями, спешащие сорваться с якоря и унестись в воздушный океан со звуками птичьих веснянок. Вэлта училась внешней волшбе, она разгадывала ее несказанные узоры, ее тайные чары, ее немые веления. На лицо Вэлты опустилась паутина тонких теней и полутеней. Оно казалось строгим и усталым.

— Хочешь, чтобы я угадала твои мысли?

— Я хочу остаться здесь, — просто сказал он. — Навсегда.

— Оставайся. Я помогу закончить твою работу.

Мгновенное удивление, оживившее ее лицо, сменилось спокойствием. Она наклонилась к лампе. Искры сновали между ее тонких пальцев, как светлячки. Ни слова больше. Молчание.

Проворное трепетное пламя, живые разбегающиеся лучи.

Никто из них не скажет ему «нет». Он может остаться на любой планете, как оставались немногие до него.

— Вэлта…

Он пытался перейти на другой тон. Теперь, когда он сказал ей все или почти все, ему стало легче. С удивлением заметил он, как растет в нем непонятная радость, которая вдруг сделала его таким щедрым, что скажи Вэлта хоть слово, и он, Эрто, передумает, вернется со всеми, с ней. Да и мыслим ли иной исход?

Она не сказала этого слова. Хрупкие плечи ее дрогнули под белой одеждой. Зеленые огоньки, потрескивая, суетились в ворохе сена, от него исходил аромат.

— Вэлта, я должен знать, кто она? Понимаешь — кто?

— Мне труднее ответить на этот вопрос, чем тебе.

— Но она… знает о Корабле? Может, я должен спросить о Валентине у кого-нибудь еще?

— Что же о ней спрашивать?

— Ты знаешь, о чем я… Валентина — с Корабля? Ну, скажи, что — да, что она создана по твоему образу и подобию, только уж лучше все сразу!

— Не знаю, Эрто. Я бы сказала, если бы знала.

Крылатое утро

Крылатое утро. Ранний щедрый снег. Сизый голубь ударил в окно, проломил холодное стекло. Капля крови на подоконнике быстро остыла, загустела. На беличьем хвосте заиндевелой ветки — малиновая полоса, след выпущенной на волю птицы. Как ни силилось солнце начать день на небе — от беленых крыш долго исходил чистый сильный утренний свет.

Кому не захочется взмыть птицей, чтобы проплыть над обновленной землей?

Стоит только повернуть диск из зеленого металла плоскостью вдоль силовых магнитных линий — и полет станет явью. В диске осталась лишь треть накопленной в нем когда-то энергии, но и этой трети больше чем достаточно для исполнения утреннего желания. Сегодня Эрто волен быть космолетчиком, волен вернуться на Корабль, завтра будет поздно. Ему дали диск, сила которого могла бы вернуть его к ним даже в последнюю секунду — только пожелай! Пусть полированная чечевица будет последним искушением. Захочешь — вмиг будешь на Корабле, энергии как раз хватит, чтобы добраться до точки старта. Только пожелай… Сквозь мглу времени уже проступает, кажется, знакомая акварель заката над восхитительным морем…

Словно подземный поезд в туннеле, пронесется Корабль и, умчавшись от одних миров, приблизится к другим, сияющим и желанным. Снова замрет время, они остановят его, потому что в синем огне реактора бесконечные ленты пространства и времени соединятся, превратятся в легкий кристаллический порошок. Потом, на планете, порошок сожгут в аппарате, который обращает реакцию, и пустой след Корабля снова наполнится бесконечно сложной плотью космоса и пульсациями ее ритма. Сказочное возвращение, похожее на коротенькую поездку, на прогулку.

Но приходили все новые и новые мысли — о жизни, о цели ее, о разуме, который, освобождая и наделяя силой волшебной, подчас как бы заключает чувства в незримый стеклянный колпак, делая их предметом изучения, а цветы созвездий не менее прекрасны оттого, что познаны силы, двигающие ими, и многажды тревожат сердце крики птиц перелетных, и прозрачные березы погружаются в таинственный сон. А мысль, улетевшая за край вселенной, возвращается вдруг к лунной тропе на озерной глади и, как птица, складывает крылья в неведомом ранее бессилии.

Раньше он думал, что это пройдет, теперь знал: это навсегда (они были выбраны Кораблем для первого контакта с такого типа

планетой). И не потому ли Вэлта посвящала его во все замыслы?

Он повернул диск. Магическое течение поля увлекло к распахнувшемуся окну, потом — в подоблачные просторы.

Путеводной нитью тянулась внизу заснеженная дорога, по которой ползли редкие грузовики.

И далеко, за лесами и полями, готовился к отлету межзвездный снаряд. Теперь Эрто, пожалуй, не поспел бы к старту. Путь его пролегал в иных измерениях, где гармония космических пустот уступала место ритмам холмов и перелесков, мерной текучести земных ветров.

По ватному облаку скользнул зайчик. Мгновенная грусть. «Это они», — подумал Эрто. Точно серебряная монета, сверкнув, упала в колодец. И снова рывок в снежную беспредельность.

…Под знакомым окном синицы таскают хлебные крохи из кормушки, складывают их на край. За окном — лицо Валентины. Она что-то говорит. Ветер — не разберешь! Но Эрто догадывается, ведь она уже многое знает и многое может поведать. Корабля нет. И ей это понятно. И что бы ни случилось, в нем и в ней живет вера: она не создана Кораблем, она найдена им здесь. И тот, главный для Эрто вопрос, который его волновал и ответа на который он не мог найти, в это утро перестает тревожить его.

Что еще означают слова, смысл которых он пытается угадать? Просьбу, признание, ответ? Нет, это уж никак не понять… Слишком ярок день, и воздух звенит, и шепот вершин все ближе и ближе…

Постепенно теряя скорость, диск опускался. Качнулась свеча березы, ветки ее взлетели навстречу. Холодные комки растекались талой водой под воротом рубашки.

Подлинная космическая явь, о которой он помышлял мальчишкой… Он подумал о том, что нужно пройти лес, подняться на холм, лотом на следующий, миновать рощу и опять взбираться на холмы и пригорки и долго брести по первозданной зимней целине, чтобы выбраться на след, на тропу, потом на шоссе. Он будет идти по дороге, не пытаясь проситься в проходящие машины. Поздней ночью, он уверен (последняя подсказка Корабля?), шеститонный грузовик остановится рядом, и шофер подаст ему темную от масла руку. И этот недальний путь навстречу жизни и работе, быть может, превзойдет по своей значимости для будущего молниеносный росчерк Корабля.

1976, № 2
Мария Мамонова

Маше Мамоновой 14 лет. Она учится в седьмом классе московской школы. Активный участник кружка астрономии и космонавтики Дворца пионеров. Научно-фантастические рассказы пишет уже несколько лет. Они привлекают внимание своей поэтичностью.

«АБЭВ» и «Песня звезд» — первая публикация юного автора.

ПЕСНЯ ЗВЕЗД

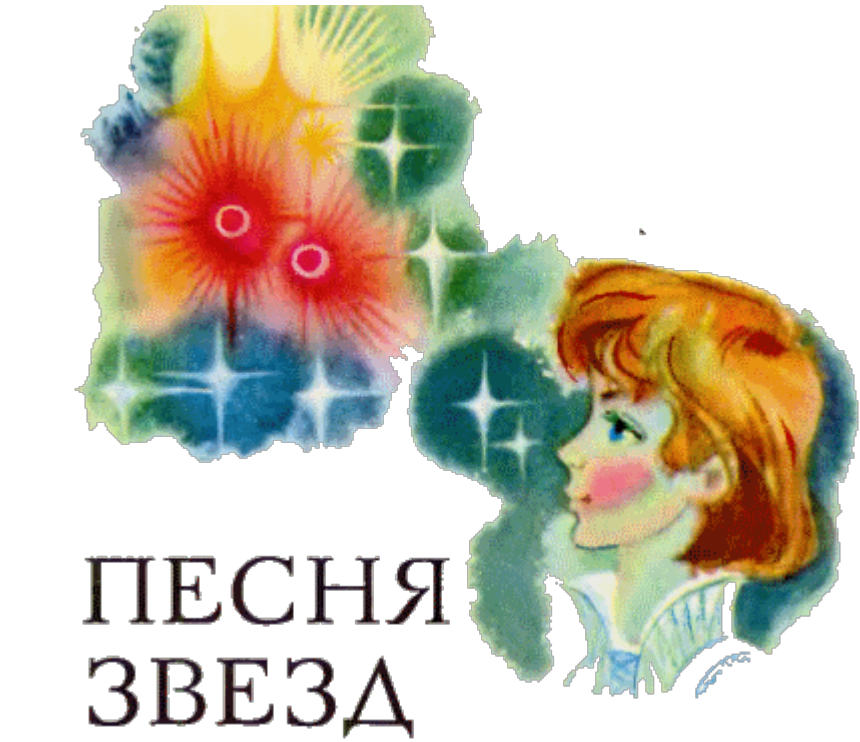


Рис. Р. Авотина

— Ну что же ты споешь? — спросили Карела, когда он приблизился к высокому инструменту.

— Песню звезд… — сконфуженно прошептал он.

— Что ж, пожалуйста! — с оттенком удивления в голосе сказала преподавательница, закрыв нажатием кнопки массивные двери зала.

— Я не могу спеть, я могу сыграть.

Карел подошел к инструменту и надавил треугольную выпуклую клавишу. Пронесся звук. Мальчик вдохновился и вразброс сыграл несколько звуков, педалью заставляя их то глохнуть и замирать, то вновь усиливаться.

— Ну разве это песня? — мягко спросила преподавательница. — Хотя звуки ты подбираешь красиво, но отсутствует мелодия, а ведь в песне это главное!

Как всегда, легким наклоном головы Карел показал, что уважает точку зрения учителя, но глаза его упрямо вспыхнули.

Что из того, что нет песни звезд у людей? Даже у людей его, XXII века! Она есть у звезд, только никто никогда не слышал ее,

кроме него… И неужели он, Карел, не сможет передать эту песню людям?.. Не может этого быть!

Вечерние краски опустились быстро и незаметно. В небе высыпали звезды, и их прозрачный свет красиво дробился в призме окон.

Карел вышел в лоджию и поднял глаза вверх.

Звезды, холодные и мерцающие, насмешливо качались в высоте. «Ты не сможешь передать нашу песню! Она недоступна людям! — звенело сверху. — Никто никогда не знает, о чем мы поем!»

Смех серебристыми колокольцами взлетал выше, выше и исчезал в темноте, отголосками подпрыгивая на острых лучиках колючих звездочек.

— Нет, могущество человеческого разума безгранично! — в волнении крикнул Карел. — Он познает все! Я передам вашу песню людям!

— Нет! Нет! Нет! — зашумели, словно звездное эхо, деревья.

— Звезды, не будьте холодными колючками! Ведь вас уже два века покоряет человек!

— Нас много! Бесконечные потоки, лавины! Ха-ха! Вы захлебнетесь!

Звезды заплясали, и их песня брызнула с высоты.

Карел прислушался. Замер. И чем дольше он слушал, тем понятнее становились ему серебряные перезвоны поднебесных колокольчиков, и тем яснее он понимал, как передать это в музыке!

Карел бросился в комнату. Через секунду оттуда в унисон со звездами вынеслась их песня! Та самая, что в течение стольких веков не могли постичь люди! Та самая, что была одной из последних тайн недоступных звезд!

Небеса замерли.

А песня звезд все лилась и лилась, нет, не с неба — из комнаты мальчика, впервые игравшего ее как гимн человеческому разуму.

АБЭВ

Капитану не нравилась планета. Не нравились густые облака, длинные приплюснутые линии городских массивов, низкорослые инопланетяне — люди с желтоватой кожей, еле видное тусклое солнце.

Но задание и не думали менять; звездолет продолжал стоять на маленьком космодроме около гор.

Надо сказать, что штурман Ян, техник Ванос и пилот Игорь не разделяли взглядов своего командира на туманную, парную Ризону. Первое время они были в восторге от нее, не следили за системами звездолета, а только любовались планетой.

Теперь, правда, уже успокоились. Вспомнили о предстоящем рейсе. Все чаще капитан видел сосредоточенные, замкнутые лица. Он знал — незримо позвала Земля. Милая, голубая родина…

— Интересное у них изобретение, — сказал как-то Игорь. — Блюдо возбуждения и воспоминания. Как они говорят — АБЭВ.

— Садишься — и сразу тебе полный эффект присутствия, пожалуйста, что хочешь, — подхватил Ванос.

— Это ты к чему? — настороженно бросил Ян. — Попробовать захотелось?

— Как же! — фыркнул пилот. — С нашим-то капитаном?

— Ребята, АБЭВ запрещаю, — устало вмешался капитан.

— А почему? — запальчиво крикнул штурман. — Хоть чем-то займемся!

— Не надо, — повторил капитан.

— Я так предлагаю, — вставил Ванос. — Мы остаемся, а ты, капитан, пойди выясни, что за штука. Идет?

— И почему ты против? — с легким раздражением проговорил Игорь.

— Что это тебе — звезда из антивещества? Четвертое измерение?

Он тогда подумал: что это с ними?.. И сам дал ответ, простой, как все, чему предшествует слишком глубокий опыт. Землю хотят. Землю. Это он увидел в равнодушно сощуренных глазах Ваноса, в небрежной позе Игоря, в колких замечаниях и шутках Яна.

Но он пошел. Пошел узнать.

Едва капитан спустился к прозрачной трехстворчатой двери, как она мгновенно распахнулась. Небольшой холм, по обеим сторонам которого спирально закрученные витки пластмассовых лестниц-эскалаторов. Пустынно, от светлых стен безликих тонов веет прохладой, сверкают движущиеся ступени.

Он поднялся на лестницу, которая быстро домчала его до крыши воронки — огромного овального зала, вдоль стен которого вплотную друг к другу стояли прозрачные параллелепипеды, пустые внутри, но с поставленным посредине на пластмассовые подпорки плоским кругом с загнутыми краями. Круг соединялся с полом каким-то матовым конусом. Это и было таинственное АБЭВ — блюдо возбуждения и воспоминания.

Перед блюдом стояло кресло с наклонными держателями для головы. С крыши параллелепипеда свешивались четыре манипулятора.

Почти на всех креслах сидели инопланетяне. Сидели неподвижно, склонившись над блюдами, уперевшись в держатели и устремив отсутствующий взгляд в пространство.

Все-таки это было немного жутковатое зрелище.

Капитан подошел к свободному параллелепипеду. Мгновенно в стеклянной стенке образовалось отверстие. Проход в стене сразу же затянулся. Капитана облепила тишина. Он сел в кресло, которое, изменив форму, плотно облегло его тело, наклонился к блюду. Подбородок уперся в держатели. Капитан посмотрел вниз.

В зеркальной поверхности круга четко отразилось его лицо — слегка раскосые серые глаза, рассыпавшиеся светло-каштановые волосы, плотно сжатые губы…

Потом отражение начало стушевываться, блекнуть и, наконец, совсем погасло. Блюдо потемнело, стало объемным и глубоким, появились странные светлые пятна, их делалось все больше и больше… Проступили какие-то неясные изображения. Вдруг словно что-то взорвалось в памяти, мгновенная яркая черта распорола блюдо…

…Раскаленный шар солнца садился в поле, прижигая траву. В звенящем вечернем воздухе будто запахло палеными ромашками, повеяло густым ароматом запоздало цветущих вишен, низко плывущим над разогретой землей. Над разнотравьем склонились кони, волоча гривы по жарким тяжелым копнам.

В выцветшем голубом небе на распластанных крыльях медленно парит коршун. Стрекочут кузнечики. Облака краснеют в догорающем костре сожженных солнцем трав.

На пригорке примостилась деревушка, принимая в свою единственную улочку узкий ручеек пыльной дороги, уныло петлявшей через холмы. Синие головки васильков в поле ржи. Коршун падает куда-то, загибая крылья. По лугам бежит, широко раскинув руки, кто-то в ярком комбинезоне. Мелькают подошвы, разлетаются на бегу черные волосы, в цветах поет ветер. Человек оборачивается. На загорелом лице пепельным цветом блестят глаза. Над лугами возносится звонкий, почти мальчишеский смех.

Это Игорь. И вон еще двое бегут по пояс в колышущейся траве. Ванос и Ян. Все трое громко хохочут, валятся на землю, приминая цветочный ковер.

— Капитан! — зовут они. Так давно его не звали по имени…

Кони настороженно подымают головы, прищуриваясь, смотрят вокруг и снова тонут в травах.

— Иду-уу! — откликается капитан.

Конечно, он сейчас же идет!

Прыгает откуда-то сверху, падает, захлебывается в дурманящем запахе полей. Лежит, не в силах подняться, смотрит снизу на небо в пестрой рамке из трав.

И вдруг его охватывает неудержимый смех. Он хохочет в полную силу. Лошади срываются с места и уносятся. Как ветер, как стрелы.

Капитан, вскочив, осматривается кругом. Какое все родное, свое!

— Мы вернулись! Да вы понимаете, мы уже вернулись! — кричит он во весь голос и снова падает, широко расставив руки, как если бы он мог обхватить ими всю Землю.

— Земля моя… — шепчет он. И громким счастливым криком добавляет, перевернувшись на спину: — Зе-е-емля-а-а-а!!

— Земля! Земля! — подхватывают холмы.

— Земля… — повторяет ветер, как будто бы впервые осмысливая значение этого слова.

— Да, вот мы и вернулись… — шепчет капитан, закрывая глаза.

…В памяти проносятся сотни чужих планет, все меркнет, стирается… Покрывается чернотой, теряет глубину… Звездолеты, старты, потерн и открытия, удачи и падения… Это так мало по сравнению с Землей, самой дорогой и близкой!

«Это от счастья…» — устало проплывает мысль.

Капитан с трудом разлепил глаза.

Ровная зеркальная поверхность четко, без единой волны отразила лицо.

Голову мягко приподняли манипулятором. Ударил резкий тонизирующий запах.

Все просветилось, стало на свои места.

Капитан медленно поднялся с кресла и подошел к стене. Услужливо образовалось отверстие, тотчас затянувшись после его выхода.

Впереди светилась преграда — нечто вроде афиши, по которой на родном языке посетителя неторопливо бежали стереобуквы, сливаясь в краткое описание принципа действия АБЭВ. Не прочитав их, нельзя было выйти. Прочтение — ключ!

«Через коническое соединение между полом и блюдом к последнему проводятся улавливатели биотоков посетителя, идущие по ним непосредственно в блоки внутренней системы, соединяющие разрозненные мысли и воспоминанья в одно целое. Настроенные заранее на команду центрального блока, экраны отображают связанные события, которые хочет видеть человек-объект на поверхности блюда. С изменением хода мыслей меняются изображения. Следуя непрерывной цепью, подобно мыслям всякого разумного существа, они создают как бы бесконечный фильм — он обрывается с окончанием сеанса. Чтобы у объекта создавалось впечатление, что он сам участник событий, могущий в них вмешаться и изменить по своему желанию, машина добавляет к фильму необходимые запахи, осязательные ощущения. Благодарим за посещение!»

Капитан вышел из здания. Голова кружилась. Перед глазами стояла родина. Далекая, недостижимая и от этого еще более прекрасная.

«Участник событий»… Пересохшие губы плохо слушались, но капитан знал, что найдет в себе силы выстоять против ярости Игоря, холодности Ваноса, отчаяния Яна. Он прекрасно знал, что никогда не разрешит экипажу пойти на АБЭВ. Никогда.

Он слишком любил их, чтобы смотреть безучастно, как разъедает их волю тоска по дому.

1976, № 3
Михаил Пухов
ВСЕ ЦВЕТЫ ЗЕМЛИ

Рис. Вениамина Костицина

О конце прохладного коридора, рядом с лестницей, ведущей на верхние этажи, висела табличка «Директор института». Чернов толкнул дверь. В большом окне в просвете между деревьями на фоне неба золотились купола старинного храма. За столом у окна сидел человек в розовой рубашке и темных очках. Молодой, красивый, несимпатичный. Он неприветливо смотрел на Чернова.

— Чем буду полезен?

— Мне нужен директор.

— Чем буду полезен? — повторил человек.

Чернов с опозданием понял, что в комнате всего одна дверь — та, через которую он вошел.

— Вы директор этого института?..

— Директора нет. Отпуска, никого нет. Лето, жара, вы понимаете. Я его заместитель. Моя фамилия Буняк, — представился он, не подавая руки. — Чем буду полезен?

Чернов молчал.

— Садитесь, — сказал Буняк.

Чернов опустился в кресло для посетителей. Никакого дружелюбия в лице Буняка он не видел.

— Работать? — спросил Буняк.

Чернов молча смотрел на него. Такой молодой, а уже заместитель. Карьерист, вероятно. Впрочем, теперь все выглядят молодыми и карьеристами.

Буняк ждал.

— Нет, — сказал, наконец, Чернов. — Я космонавт. Я…

— Не нужно. Я и так все знаю.

Буняк щелкнул тумблером и теперь смотрел на не видимый Чернову экран.

— Чернов Анатолий Васильевич, русский, год рождения 1996-й, профессиональный космонавт, покинул Землю в 2020 году, вернулся месяц назад. Вас, вероятно, предупреждали. Теперь каждый носит с собой биографию.

— Но я думал, это просто номер. Комбинация цифр, и ничего больше.

— Верно, — усмехнулся Буняк.

Такие приборы, как у меня, установлены всюду. Он зарегистрировал ваш номер и передал его в Информарий, где хранятся данные обо всех гражданах Земли. Но ведь вы пришли не для того, чтобы я вам это объяснил.

— Да, — сказал Чернов.

Буняк ждал.

— Я вернулся из трудного перелета, — сказал Чернов. — Для Земли рейс продолжался 200 лет. Те, кто нас провожал, мертвы.

— Ясно, — сказал Буняк.

— После возвращения меня поместили в специальный центр. Мне читали там лекции о технических достижениях человечества.

— Ясно, — сказал Буняк. — По-моему, так всегда делают.

— Из лекций я узнал, что современной науке доступны многие вещи, которые нам и не снились.

— Не удивительно, — кивнул Буняк. — Целых два века.

— Я узнал, что даже в области медицины достигнут значительный прогресс. Рак побежден. Неизлечимых болезней нет. Наука вплотную подошла к решению проблемы бессмертия.

Буняк кивнул.

— Еще я узнал, что найден способ оживления мертвых.

Буняк молчал, пряча глаза под темными стеклами.

— Я узнал, что этим занимаются здесь, в Институте реанимации, — продолжал Чернов. — Говорят, вы можете восстановить живое существо по самым ничтожным останкам.

— Даже по окаменевшей кости, — сказал Буняк. — Каждая клетка организма содержит информацию об организме в целом. Процесс реанимации по нашей методике распадается на два этапа. Самое трудное — реанимация клетки. Вторая стадия — окончательное восстановление организма. Этот этап требует много времени и энергии, но принципиально несложен. Первых мамонтов из тех, что живут сейчас в Антарктиде, мы воссоздали именно так.

Буняк умолк. Некоторое время Чернов тоже молчал. Разговор уходил в сторону. Чернов сказал:

— Мамонты. Не понимаю. Неужели нет более достойных

объектов?..

— Что вы имеете в виду?

— Людей, — объяснил Чернов. — Из лекций я пенял, что вы оживляете только вымерших чудищ. Это потрясло меня гораздо сильнее, чем сам факт. Или я ошибаюсь?

Буняк молчал.

— Я вернулся всего месяц назад, — продолжал Чернов. — Мне у вас многое не нравится. Вероятно, это естественно. Но когда вы воскрешаете мамонтов… Скажите, что я неправильно понял, и я уйду.

Буняк снял темные очки. Глаза у него были усталые, вовсе не молодые.

— Нет, вы все поняли правильно. Но для второго этапа необходимо колоссальное количество энергии.

— Больше, чем для мамонтов?..

— С мамонтами было просто, — сказал Буняк. — Нам предложили реанимировать несколько особей, безразлично каких. Самца и несколько самок. Люди — это другое дело. Поймите, что есть моральные проблемы, не имеющие с биологией ничего общего.

Чернов молчал, глядя на далекие купола в окне за спиной собеседника.

— С годами в клетках живого организма накапливаются необратимые изменения, — продолжал Буняк. — Для человека возрастной порог, за которым реанимация невозможна, составляет около тридцати лет. Если смерть наступила позже, мы бессильны. Но даже с учетом этого остаются миллиарды кандидатур. И возникает проблема выбора.

Чернов молчал.

— Массовая реанимация немыслима из-за энергетических ограничений, — продолжал Буняк. — Другие варианты отпадают. Этические проблемы значительно сложнее научных. Не думайте, что вы первый. Мы бессильны. Поставьте себя на мое место, и вы это поймете.

— Нет, — сказал Чернов. — Вы знаете обо мне не все. Ведь я вернулся один.

Буняк ждал.

— Нас было двое, — продолжал Чернов. — Полет в один конец занял пять лет. Планета, возле которой мы оказались, была окутана ядовитой, по нашим понятиям, атмосферой. Но на ее поверхности теплилась примитивная жизнь. Это все, что нам удаюсь установить сверху.

Буняк внимательно слушал.

— Как и другие звездолеты первого поколения, наш корабль

не предназначался для посадки. На борту имелся десантный бот — одноместная ракета с ограниченными ресурсами. Как и предусматривалось программой полета, мой товарищ занял место в кабине бога, и мы расстались. Как вскоре выяснилось — навсегда.

Что-то в лице Буняка изменилось.

— Вероятно, вы догадались, что бот потерпел аварию. Но человек уцелел. Он проводил запланированные исследования и передавал мне их результаты. Когда поток информации пошел на убыль и когда окончательно выяснилось, что бот отремонтировать невозможно, мы попрощались, и я стартовал к Земле.

— А он…

— Да, — кивнул Чернов. — Помочь ему я все равно не мог. И нам обоим казалось, что это очень важно — доставить на Землю информацию о биосфере планеты. Да, это было самое важное.

Буняк ничего не сказал.

— Мы служили Земле, — продолжал Чернов. — Мне было нелегко, но поступить иначе я не мог. Сейчас, находясь среди людей, которых эта информация вряд ли интересует, я смотрю на все по-другому. Но тогда нам казалось, что это единственное решение.

Буняк молчал.

— Теперь я смотрю на все по-другому, — повторил Чернов. — Вполне возможно, он уже тогда понимал, что так будет. Просто притворялся ради меня. И то, что я его бросил…

— Не надо, — сказал Буняк. — Вам было труднее. Он был обречен, вы были бессильны.

Чернов не ответил. Он смотрел в окно, в просвет между деревьями.

— Тем, кто бессилен, труднее, — повторил Буняк. — Мы тоже бессильны.

— Нет, я не согласен, — сказал наконец Чернов. — Я все понял, но я не согласен. Действительно, человечество нам ничем не обязано. Для Земли мой товарищ — один из миллиардов. Пусть так. Но ведь были другие.

— Кто?

— Разве мало выдающихся людей жило на Земле во все эпохи, — сказал Чернов. — Людей, без которых ваш мир был бы иным?..

— Не забывайте о возрастном пределе, — предупредил Буняк. — Не старше тридцати лет.

— Все равно. Лермонтов, Галуа… Таких очень много.

— Да, — согласился Буняк. — В этом вся сложность.

— Нет, — сказал Чернов. — Все равно их можно перечислить по пальцам. Дело не в количестве. Но вы… Вы… — Чернов запнулся, нужные слова были, но он не сразу смог их произнести: — Вы ничего не помните!..

Буняк ответил не сразу. Некоторое время он неподвижно сидел на фоне далекого неба, и в его глазах была усталость. Потом он поднялся.

— Да, мы ничего не помним, — сказал он. — Пойдемте.

Через полчаса они стояли на площадке, на вершине ажурной башни над сплошным океаном листвы. Каким образом они здесь оказались, Чернов не понимал — потерял ориентацию. Помнил только, как они долго куда-то шли по улице, похожей на парк.

Под ними до горизонта простиралось зеленое море. Кое-где, как айсберги, возвышались глыбы домов. Над городом было много ветра и воздуха, по верхушкам деревьев бежали волны. Тонкая труба треугольного сечения уходила вдаль. Вдоль трубы на них надвигалось что-то стремительное, беззвучное.

— Монор, — объяснил Буняк. — Монорельс. Теперь это основной общественный транспорт.

Вытянутый вагон прошелестел мимо, не замедлив хода, оставив после себя угасающий порыв ветра.

— Куда мы поедем?

— Все равно, — усмехнулся Буняк. — По-моему, это безразлично.

Новый вагон плавно затормозил у площадки. Его стенка исчезла, они перешли внутрь. Вагон тронулся и понесся над зеленой равниной.

— Я могу знать, куда вы меня везете? — настойчиво повторил Чернов.

— Вы считаете, что мы ничего не помним, — сказал Буняк. — И не хотите понять, почему мы не работаем на людях. Я помогу вам разобраться в этих вопросах.

Чернов молчал, приглядываясь к пассажирам. Одни женщины, на вид совсем юные. Платья — недлинные. Женщины прикрывали колени пышными букетами, аромат незнакомых цветов пронизывал все. Вагон монора двигался быстро, иногда останавливаясь.

— Не понимаю, куда им столько цветов? — сказал Чернов. — И когда они все работают? Полдень, но улицы заполнены гуляющими. Когда они работают — вот что мне непонятно.

Вагон снова затормозил — на этот раз где-то за городом, станция, видимо, была конечной, и вагон монора остановился у самой земли. Девушки с цветами в руках спустились по легким ступенькам и шли теперь по узкой тропинке, изгибавшегося

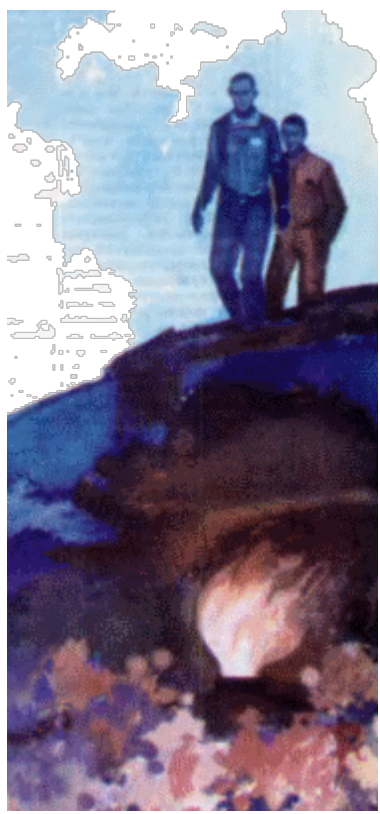
между лесом и полем. Буняк и Чернов немного отстали. Тропа поднималась, вверху шумели высокие сосны. В поле колосились злаки.

— Сейчас лето, — сказал наконец Буняк. — Отпуска, я уже говорил. Не сердитесь.

Подъем кончился. Тропа сделала последний поворот. Буняк остановился, а стайка девушек продолжала движение — туда, где на земле под высокими соснами лежала простая каменная плита. И рядом — Вечный огонь.

— И вообще не сердитесь, — сказал Буияк. — Все трассы монора оканчиваются в подобных местах. Везде, где когда-то прошла война, земля смешана с прахом погибших. Из каждой ее частички мы могли бы возродить человека. Их десятки миллионов. Большинство почти дети. Они тоже ничего не успели сделать для человечества. Ничего, кроме самого главного. Вот о каком выборе идет речь. Теперь вы понимаете?..

Он умолк. Чернов тоже молчал. Представители разных эпох, они стояли плечом к плечу, а цветы неровными холмиками ложились на темный гранит, и девушки в розовых платьицах отходили с пустыми руками.



1976, № 5
Д. А. Де-Спиллер
ЖЕЛТАЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Рис. С. Повилайтиса

Два слова о себе

Я родился в *** году на Марсе. В то время Марс только начинали осваивать. Тогда на нем было два поселка — Северный к Южный, разделенные двадцатью километрами красной пыли. Между пылевыми холмами вилась линия электрички, соединяющая оба поселка.

Когда я родился, в Северном поселке было уже трое, а в Южном пятеро ребятишек первого поколения марсиан.

В семь лет я, как водится, пошел в школу. Школа находилась в Южном поселке, а так как я к мои родители жили в Северном, то на занятия мне приходилось ездить ка электричке.

Между поселками ходили тогда две электрички. Одна из них, собранная из доставленных с Земли пластмассовых деталек, была ярко-краской, и ездить ка ней мне было приятно. Другой электрички я, откровенно говоря, немного побаивался. Она была изготовлена из местного утильсырья и окрашена в желтый цвет.

Помню, как, стоя в своем маленьком скафандре на перроне, я несколько раз, глядя на подходившую желтую электричку, испытал острое щемящее чувство грусти, смешанной со страхом. Никогда не забуду этого!

На Марсе я окончил четыре класса средней школы. Доучиваться меня вместе с другими ребятами-марсианами послали на Землю. Перед отъездом ка марсианский космодром я последний раз в жизни видел желтую электричку, и мне показалось тогда, что, рассматривая ее, я на мгновение разглядел чье-то очень печальное и немного страшное лицо.

Через час я вместе с родителями летел в космоплане на Землю.

По окончании средней школы я поступил в Московский институт математической лингвистики, на факультет космических языков.

Никто не знал в то время, существует ли хоть одни внеземной космический язык или нет. Но считалось несомненным, что любая внеземная система кодирования информации, какой бы эксцентричной она ни была, должна все же удовлетворять пяти аксиомам Ле-Блана.

Это было заблуждением, но заблуждением очень привлекательным. Рассеять это заблуждение очень помогла, как ни странно, спутница моего детства, старая желтая электричка. И вот как это случилось.

Рисунки на стенах канала

По окончании института я был послан на знаменитый Рухш. Планета Рухш, открытая за два года до моего рождения, удостоилась пристального внимания космобиологов. По-видимому, на Рухше некогда существовала цивилизация, уничтоженная взрывом Аноиды — звезды, вокруг которой он обращается. Беспилотная космическая станция открыла на Рухше систему каналов, несомненно, искусственного происхождения. Вслед за ней на Рухш была послана экспедиция из четырех человек. Прожив там три года, они сделали много находок к, между прочим, нашли мраморную плиту, инкрустированную черным гнейсом так, что ее покрывали узоры, похожие на письмена. Все космолингвисты нашего института самым тщательным образом изучили фотографии этой плиты, но никому не удалось расшифровать начертанные ка ней письмена.

Вместе со мной на Рухш отправлялись известный космобиолог Михаил Грачев и космоархеолог Николай Дубницкий. Я, Грачев и Дубницкий должны были сменить трех из четырех человек, работавших там.

Добираться пришлось долго. Некоторое оживление в довольно монотонную жизнь на субсветовике вносили частые споры между Грачевым и Дубницким. Споры шли о возможности существования внеземных существ, внешне похожих на людей. Грачев считал, что это очень маловероятно, а Дубницкий искренне верил в такую возможность.

Мы прилетели на Рухш, когда в его северном полушарии стояло жаркое лето. Опустившись на грунт невдалеке от высокого купола, укрывавшего станцию, мы надели скафандры и вышли из корабля. Был вечер, но белый рухшнанский песок поминутно озарялся вспышками метеоров. Старожилы заключили нас в объятия, к после приветствий трое из них тут же улетели в субсветовике, вынуждаемые к этому астрономической обстановкой. Четвертый рухшнанский старожил отвел нас на станцию.

Когда мы разделись, умылись, напились чаю и наговорились о делах, хозяин показал нам свой альбом рисунков.

Сперва показалось, что рисунки не имеют никакого отношения к профессии хозяина, который был математиком. Но мы ошиблись, и наш хозяин — Петр Васильевич Баталов — вывел нас из заблуждения.

— Посмотрите еще раз, пожалуйста, на эти рисунки и ответьте мне, не находите ли вы в них что-то общее, — попросил

Баталов.

Мы еще раз просмотрели весь альбом. Там были нарисованы десятки очень характерных и своеобразных рож.

— В рожах всегда что-то общее, на то и рожи, — сказал я.

— Рожа кое в чем подобна электрону, — спокойно заметил Грачев. — На это я обратил внимание, еще будучи студентом. Электрон существует не сам по себе, а рождает вокруг себя поле. Точно так же и рожа. Она существует не изолированно, а рождает вокруг себя некоторое эмоциональное поле, и хорошо ощутимое.

— Я скажу вам, что общего между всеми этими физиономиями. Они все нарисованы кривыми переменной кривизны, удовлетворяющими вот такому дифференциальному уравнению. — И, нагнувшись, Баталов написал на бумаге довольно сложную формулу.

— И этим объясняется сходство между физиономиями? — спросил Дубницкий.

— Я не знаю наверное, — сказал Баталов, — но думаю, что да. Я твердо убежден, что с выражениями лиц связаны определенные математические инварианты.

— Давно вы пришли к такому убеждению? — спросил Дубницкий, отхлебнув вина из бокала.

— Еще на Земле. Математическое исследование физиономий — это мое хобби. Но мои успехи пока еще скромны…

— Однако я не назвал бы скромными ваши художественные успехи, — сказал Дубницкий, указывая на совершенно ошеломляющую физиономию в альбоме Баталова.

— Эта физиономия построена исключительно при помощи моего уравнения и таблицы случайных чисел. Мое искусство здесь ни при чем…

Разговор кончился ничем. Мы все вскоре легли спать.

На следующий день утром мы отправились на место раскопок. С четверть часа Баталов вел планетоход по пустыне, лавируя между ослепительно белыми песчаными куполами. Потом впереди показался канал в жемчужно-серой мраморной одежде. Каменное дно канала покрывала тень. Вследствие необычайной прозрачности воздуха тени на Рухше были очень густыми, и канал казался бездонным.

Нырнув в его глубину, планетоход повернул налево и поехал по мраморному руслу.

Дорогой я поглядывал на погруженные в плотную тень, потрескавшиеся плиты, облицовывающие стены канала. Ехать нам пришлось минут двадцать.

В одном месте канал круто изгибался, и, когда мы там проезжали, меня вдруг на мгновение охватило то самое острое,

щемящее чувство грусти, смешанной со страхом, которое я несколько раз испытывал в детстве, глядя на подходившую к перрону электричку. Однако я не придал этому значения.

Вскоре планетоход вынырнул из канала и подъехал к месту раскопок. Мы вышли из планетохода и осмотрелись.

Посреди песчаного карьера стоял маленький экскаватор, освещавший дно карьера тремя мощными прожекторами. В этих широтах Аноида никогда не подымается над горизонтом выше чем на двадцать с небольшим градусов, и если бы не прожекторы, то песок в глубине карьера был бы вечно погружен в плотную тень. Благодаря же прожекторам мы увидели на нем множество мраморных предметов. Там лежали бесформенные куски мрамора, граненые мраморные колонны, мраморные клинья и две больших мраморных плиты, полузасыпанных песком.

Часа полтора мы осматривали карьер, а затем поехали обратно, причем за руль планетохода теперь сел я; трое моих спутников разместились сзади на кожаных подушках.

Открытие, перечеркнувшее гипотезу Ле-Блана, было сделано нами совершенно случайно. Когда мы проезжали мимо места, где канал изгибался, в небе над нами ярко вспыхнул метеор, и в это мгновение прямо перед собой я отчетливо увидел чье-то печальное и немного страшное лицо, которое живо напомнило мне желтую электричку. От изумления я вскрикнул и остановил планетоход. Метеор потух. Ничего, кроме трещин на стене канала, теперь не было видно. Но вдруг в небе загорелись сотни метеоров. Начался один из самых сильных и продолжительных метеорных ливней, когда-либо наблюдавшихся на Рухше. Он продолжался более часа, и за это время мы успели осмотреть и стократно сфотографировать те странные рисунки, которые прежде, в полутьме, всегда принимались всеми просто за трещины на плитах, облицовывающих берега канала.

Долго и пристально смотреть на эти рисунки невозможно: начинает казаться, что вас обступают уродливые, угрюмые существа. Вас охватывает сильнейшее волнение. Становится невыносимо тоскливо. Вы чувствуете головокружение и страшную слабость.

Впрочем, так происходит, если смотреть на них издали. Когда же мы подходили к ним вплотную, то видели только тонкие кривулины, нарисованные черной краской на плитах канала в месте его излома.

Фотографируя эти рисунки, я еще дважды испытал ощущение, подобное тому, которое испытывал в детстве, глядя на желтую электричку. Когда мы закончили фотографирование и изучение рисунков, я, обращаясь к Баталову, сказал, что

увиденное связано с некоторыми моими детскими воспоминаниями.

Секрет электрички

Вечером за ужином я рассказал моим товарищам о желтой электричке, о чувстве, которое я испытал в детстве, видя ее, и о том, что сегодня я испытал похожее чувство.

— Нарисуйте, пожалуйста, вашу электричку, — попросил Баталов.

Напрягая свою память, я сделал ка бумаге набросок передней части электрички.

— Я объясню, почему эта электричка произвела на вас такое впечатление, — сказал Баталов, — она качнула на вас волку символов печального человеческого лица.

— Но как? — удивился я.

— Вот посмотрите, в середине ее передней стенки помещается дверь, а по бокам двери — два окна. Дверь служила вашему воображению символом носа, а окна — символами глаз. Вы знаете, что когда брови, сближаясь, подымаются кверху, то лицо приобретает скорбное выражение?

— Но у электрички нет ничего, что могло бы быть принято за брови!

— Совершенно верно! Обратите, однако, внимание, как размещены ее окна-глаза по отношению к ее двери-носу. Они расположены очень низко. Теперь, как бы вы ни пробовали дорисовать здесь брови, вам придется нарисовать их подымающимися кверху от краев к середине.

Баталов нарисовал на моем эскизе брови и продолжил:

— Посмотрите на огражденную площадку, на которую ступал машинист, выходя из двери. Ваше воображение сочло ее разинутым ртом. Неудивительно, что электричка казалась вам одновременно печальной и немного страшной.

Я согласился с Баталовым, но заметил, что остается непонятным, почему, глядя на открытые нами рисунки, я испытал то же чувство, что в детстве при виде электрички.

— По-моему, — сказал Баталов, — я догадываюсь, в чем тут дело. Общеизвестно, что у нас есть врожденные эмоциональные реакции на выражения лиц. Но я думаю, что мы эмоционально реагируем не на выражения лиц собственно, а на некоторые математические соотношения, сообщаемые нашему подсознанию при помощи выражений лиц. По-видимому, могут существовать и другие посредники, способные передавать нашему подсознанию сообщения о тех же математических соотношенияхи вызывать у нас те же эмоции. Вероятно, кривулины на мраморных плитах являются такими посредниками. И когда вы их увидели под

определенным углом зрения, они подействовали на ваше подсознание так же, как марсианская электричка.

— Надо думать, что эти кривулины гораздо интенсивнее, чем выражения лиц, сообщают нашему подсознанию математические соотношения, о которых вы говорите, раз они произвели на нас с вами такое сильное впечатление.

— Конечно! Я чуть в обморок не упал.

— Но для чего служили рисунки?

— Этого я не знаю.

Этого никто из нас так и не узнал до самого возвращения на Землю.

Гипотеза Йована Добрича

Мы пробыли на Рухше больше года. В первые дин тщательнейшим образом обследовали весь канал и послали на Землю подробный иллюстрированный голографическими снимками отчет о нашем открытии. К отчету добавили изложение гипотезы Баталова о математической подоплеке выражений лиц. Не умолчали и об обстоятельствах, связанных с марсианской электричкой.

Долгое время мы искали на Рухше подобные рисунки, но затем оставили эти поиски, оказавшиеся безрезультатными. Зато сделали еще одну важную находку.

Как-то раз, раскапывая песчаный бугор неподалеку от нашего жилища, Дубницкий извлек из грунта обломок гнейса, на котором было высечено изображение человеческой фигуры. Оно было очень условно. По нему нельзя было достаточно полно представить себе того человека, которого оно изображало. Одно несомненно: это было изображением именно человека, а не какого-либо другого существа! Таким образом, старый спор между Грачевым и Дубницким решился в пользу Дубницкого.

В течение остального времени пребывания на Рухше никаких новых открытий мы не сделали.

Субсветовнк с Земли прилетел, когда ударили морозы. Нас сменила группа из восьми человек. Мы же четверо вернулись на Землю.

С гипотезой профессора Йована Добрича я познакомился спустя неделю после прибытия на Землю. Добрич явился в Космический Центр, где я читал лекцию об открытиях, сделанных нашей группой на Рухше, и, подойдя ко мне после лекции, сказал, что хочет познакомить меня со своей гипотезой. Ему было важно знать мое мнение, поскольку я являлся единственным космолиигвистом, побывавшим на Рухше.

Согласно гипотезе Йована Добрича могут существовать языки, в которых начисто отсутствуют сообщения о фактах. Такие языки Добрич назвал неизъявительными.

Любой земной язык выполняет две функции. Во-первых, он передает чувства. Во-вторых, он передает сообщения о фактах. Частью речи, служащей главным образом для передачи чувств, являются междометия. Частью речи, служащей главным образом для сообщения о фактах, являются имена числительные. Обычно в языке смешиваются обе эти функции. Речь человека одновременно и выражает чувства, и сообщает о фактах.

Этими двумя функциями не исчерпываются функции

человеческой речи. Речь может выражать волю говорящего, побудить слушающего к выполнению некоторых действий…

Добрич предположил, что древние жители Рухша пользовались языком исключительно для передачи эмоций. Это не помешало им создать цивилизацию, и вот по какой причине. Своей речью говорящий рухшианин вызывал у слушающего такое эмоциональное состояние, которое создавало у него внутреннюю потребность в определенных действиях, хотя ему и не было сказано, что он должен делать.

Зачаточные формы такого способа коммуникации можно заметить и у людей. Если некто будет всегда радостно и приветливо встречать гостя, он, и не приглашая гостя заходить почаще, вероятно, добьется того, что гость будет приходить к нему часто. Если же он будет встречать гостя всегда сухо и холодно, то, и не запрещая гостю приходить, он добьется того, что гость приходить к нему перестанет.

Способность однозначно отвечать действиями на разнообразные эмоциональные состояния у человека совершенно не развита. Но она могла быть развита у обитателей Рухша.

Профессор Добрич предположил, что на стенах рухшианского канала записан сложный текст на неизъявительном языке. Это могла быть, например, инструкция по проектированию каналов.

Однако, чтобы «прочесть» этот текст, древний рухшианин должен был пройти ряд разнообразных эмоциональных состояний, каждое из которых вызывало у него потребность в выражении этого состояния посредством определенных действий.

— Когда вам радостно, вам хочется танцевать, — говорил мне Добрич взволнованно, — а рухшианин мог, например, в этом случае захотеть перенести камень из одной кучи в другую…

Выслушав профессора Добрича, я сказал, что его гипотеза представляется мне очень правдоподобной.

Ныне обе гипотезы — и Петра Баталова и Йована Добрича — общепризнанны. Новые находки на Рухше подтвердили их и доказали, что «устной» формой общения древних рухшиан был обмен гримасами. Это доказывают снимки со скульптурной группы, найденной неподалеку от карьера. Страшные взрывы, пресекшие попытку землян извлечь из грунта эту скульптурную группу, заставили ученых отложить на время исследования Рухша. Но и уже собранные сведения в достаточной мере, подтверждают гипотезы Баталова и Добрича. Что до меня, то я нисколько не сомневаюсь в их справедливости…

Я горжусь своей причастностью к обеим этим гипотезам, но иногда сожалею, что никогда более не увижу на Марсе, покрытом ныне огромными городами и изборожденном автострадами,

спутницы моего детства — старой желтой электрички.

1976, № 6–7
Георгий Гуревич
НЕЛИНЕЙНАЯ ФАНТАСТИКА

(Из «Книги замыслов»)

(Опыт конструирования научно-фантастического романа)

Рис. Игоря Шалито

От редакции

Нам часто пишут молодые, начинающие фантасты, присылают свои первые произведения. И у всех один и тот же вопрос: что мне не удалось? Что сделать для того, чтоб рассказ получился лучше? Как стать писателем?

Как стать писателем — на этот вопрос так сразу и не ответишь. Но в поисках ответа полезно было бы заглянуть в творческую лабораторию писателя. Возможность такая есть — в рассказе Георгия Гуревича

описываются размышления писателя над тем, каким суждено быть его будущему роману.

Раздумывая вместе с писателем над явно, нарочито выдуманной ситуацией, пусть даже и сдобренной изрядной дозой столь присущего Г. Гуревичу «нелинейного» юмора, мы видим, как из первоначального замысла прорастает основа — пока еще не во всем ясная — еще не родившегося творения, как появляются герои и вырисовываются их характеры, как, наращивая скорость, срывается с места сюжет, — да, есть во всем этом что-то похожее на труд архитектора, который не был бы архитектором, если б не видел одновременно и полный фасад воображаемого им здания, и рисунок капители какой-нибудь колонны…

Мы думаем, что рассказ Г. Гуревича будет столь же полезен для начинающих фантастов, насколько он оригинален и самобытен.

— Лист, — сказал главный. — Печатный лист. Сорок тысяч знаков, и ни единой запятой сверх того.

— Но я пишу роман, — сопротивлялся я. — В романе проблемы, характеры, конфликты. Характеры развиваются, конфликты переплетаются. Еще научная идея, ее тоже надо объяснить.

Редактор снисходительно положил мне руку на плечо.

— Георгий, ты отстал от жизни. Нашему читателю не нужны объяснения. Он грамотный, он подкован технически, он мыслит. Фантастику вообще читает по диагонали. Ловит намеки на лету, детали сам дорисует, довоображает.

— Довоображает?

— Безусловно.

— Хорошо. Тогда я изложу замысел, а читатель представит себе роман. Договорились? Пробуем?

Главный закашлялся.

— Ну чем мы рискуем, собственно говоря? — сказал он. — Мы экспериментальный журнал.

Итак, пробуем. Рискуем. «Диагональные», поддерживайте!

Ода сложности

Сейчас я задумал, пишу, напишу, если успею в этой жизни, роман под названием «Нелинейная фантастика».

Термин «нелинейная» взят у точных наук. В природе есть простые процессы, зависящие от одной причины, они описываются простыми линейными уравнениями с однозначным решением, единственным и безупречным. Нелинейные же процессы зависят от многих причин, и у нелинейных уравнений много решений — два, три… пять… пятнадцать, в зависимости от степени, действительные, мнимые… Путайся с ними.

С возрастом меня все больше увлекает сложность. Мне интересно прослеживать, как из лица выглядывает изнанка, как она превращается в новое лицо, как черное становится белым, а белое распадается на семь цветов радуги. Меня восхищает относительность пространства и времени, бесконечность космоса и неисчерпаемость электрона, переход количества в качество, единство и борьба противоположностей и отрицание отрицания. И мне все хочется рассказывать, как великолепно, увлекательно сложен мир, жизнь и человек.

Кажется, читатели пожимают плечами. Человек сложен! Да кто же не знает этого?

Все знают. Но забывают. Упускают из виду. О бесконечно сложном человеке говорят простенько: «скверный малый», «хорошая девушка». Да кто же из нас (из ваших знакомых) бывает всегда, при всех обстоятельствах, для всех на свете хорош или плох? Но и взрослые литературоведы делят героев на положительных и отрицательных, настаивают, чтобы писатели дали образец, достойный подражания. Даже ученые нередко утверждают, что природа склоняется к простоте, ищут простые законы…

Ничего подобного, природа ни к чему не склонна. Она бездушна и автоматична. Очень обширна и от обилия однообразна. Плодит очень много похожих тел: много звезд, много атомов, много песчинок, травинок, комаров. Но как же бесконечно сложен каждый комар! Нет, не природа, это мы склоняемся к простоте. Я сам стремлюсь. Вот в пятый раз переписываю эту страничку о сложности, все пытаюсь вытянуть в линеечку спиральную пружину.

Дело в том, что простота проще, понятнее, доходчивее.

Простота легче, экономнее, рациональнее. Ехать по асфальту просто, прокладывать новую дорогу — сложно. Бессмысленно прокладывать новый путь для каждой поездки.

Простота производительнее. Работать автоматически проще, и руки рабочего движутся автоматически. Нельзя тратить время на обдумывание каждого движения. Шофер автоматически жмет на тормоза. Если задумается, будет авария. Задача обучения: привить автоматизм.

И так как животному словами не объяснишь, что оно должно стремиться к автоматизму, природа сделала так, что автоматичность приятна. А непривычное трудно, вызывает напряжение… даже стресс.

Нам тоже приятно простое и привычное. «Привычка свыше нам дана, замена счастию она».

Но у понятной, рациональной, производительной и приятной простоты есть и недостатки.

Во-первых, она приблизительна. Природа-то бесконечно сложна, простые формулы — это упрощение. Они правильны от сих и до сих, а где-то за горизонтом неверны.

Простота склонна к потребительству. Съесть обед просто, купить продукты в магазине — чуть труднее. Вот вырастить хлеб — намного сложнее. Послушать музыку просто, исполнить — сложно, сочинить достойное — еще сложнее. И так далее, подбирайте примеры сами.

Простота консервативна, кроме того. Ведь повторять просто, придумывать куда сложнее. И в результате простота не подготовлена к новому. Новое — не заасфальтированное шоссе.

Прогресс требует сложности, сложность — прогресса.

Но я хочу сказать не только о том, что сложность необходима. Она еще и увлекательна. Это очень хорошо, что природа бесконечна и бесконечно сложна. Простые-то истины давно известны, но на нашу долю осталось полным-полно непонятных сложностей.

Сложность щедра. Ибо простое, доступное давно используется. Но в бесконечной природе впереди всегда больше, чем пройдено. Впереди больше богатств, чем найдено.

Сложность тоже приятна, но по-своему. Она нелегка, но тем почетнее победа. Ах, невелика честь подняться на лифте на десятый этаж, но как же гордятся покорители вершин, где не ступала нога человека! Как приятно распутать клубок, который никто до тебя не распутал!

Славно, что природа заготовила для нас столько головоломок, что пространство и время относительны, космос бесконечен, электрон неисчерпаем, количество переходит в качество, превращается в свою противоположность и отрицается отрицание. Увлекательный мир. Великолепно сложный, великолепно запутанный!

Вот я и хочу написать книгу об этой сложности.

Инфант

Для иллюстрации мысли нужны примеры. Пожалуй, в строительстве можно найти немало. И не потому, что сам я инженер-строитель по образованию. Вообще ломать просто, строить посложнее.

Вот, например, проектируется самолет. Идет борьба прочности и легкости. Чтобы взлететь, нужен легкий корпус и мощный двигатель, но мощный двигатель много весит, нельзя ли его облегчить? Горючего взять побольше? Но баки и горючее тоже имеют вес. Еще облегчить кузов? Непрочен будет. Сделать поменьше? Пассажиров будет меньше. Взлететь выше, где сопротивление меньше? Но для подъема нужна скорость, мощность, горючее. Выигрыш за счет формы, за счет обтекаемости? Ломают головы конструкторы, решают на ЭВМ нелинейные уравнения.

Нет, я не о самолетах напишу. У нас в фантастике фантастические примеры. Не самолет, а звездолет, не новое платье — новое тело. И если стройка, то планетарная: осушение целого моря, сооружение целого хребта, вкрест Уралу — от Карпат к Орску или от Финляндии на Норильск.

А что он даст, такой хребет? Что принесет, что испортит? Заранее надо бы проверить.

Вот для проигрывания самых фантастических мечтаний и создан Инфант — научно-исследовательский Институт нелинейной фантастики.

Всяческие идеи из сказок и умов мечтателей присылаются туда для опробования. Производится оно на моделях, технических и математических, как и в обычных институтах. Звездолет, или горный хребет, или скатерть-самобранку, или шапку-невидимку кодируют там, то есть превращают в милое изящное нелинейное уравнение с полудюжиной корней, переводят в двоичную систему, записывают дырочками на ленте и поручают решать послушной машине. И машина выдает решения, действительные и мнимые. А научные сотрудники пишут заключение: «стоит стараться» или же: «не стоит».

Кроме того, в Инфанте есть и еще одна машина — ППП, то есть Проектор Произвольных Параметров. «Произвольные параметры» в переводе на человеческий язык — это все, что в голову взбредет. А проектор — это экран, на котором показывается то, что взбрело. Видно, как будет выглядеть осушенное море, или скатерть-самобранка, и к лицу ли вам шапка-невидимка. В последнем случае ничего не будет видно.

Но частенько внешний осмотр дает слишком мало. Надо бы в деле испытать идею.

На одной всемирной выставке видел я дом, похожий на соты. Каждая сота — квартира, перед каждой — балкой. Твой балкой — крыша нижнего этажа. Выглядело оригинально, красиво, пожалуй, заманчиво. Но надо бы пожить в таком доме, испробовать, насколько это удобно.

Или новое тело. Тут баланс нужнее всего. Переделаешь тело неудачно, душу искалечишь. Необходимо пожить в нем, попробовать. А как попробовать?

Такую задачу решает лаборатория № 17.

Приглашаются герои

Я отвел Инфанту отдельный остров на Белом море. Рядом тундра, тайга, морские просторы — достаточно места для масштабных опытов.

В институте, как полагается, будут директор, научный руководитель, ученый совет и секретарь совета, старшие научные сотрудники, младшие научные сотрудники и хорошенькие лаборантки, столовая, бухгалтерия, получка 5-го и 20-го, клуб и танцы в клубе, предпочтительно — старомодные. Но я не собираюсь рассказывать обо всем. В центре будет лаборатория 17.

В кино на главные роли приглашаются артисты из других фильмов, проявившие талант, полюбившиеся зрителю и подходящие по внешним данным. Здесь я приглашу в лабораторию героев из других моих рассказов, людей талантливых, способных возглавить лабораторию, подходящих по характеру, — Гелия Десницкого и Бориса Борисовича — ББ.

Гелий — молодой инженер из «Месторождения времени» — человек с кпд около 1000 или 1200 %. Он изящен, с тонким лицом, нежным, деликатным голосом. Но больше всего на свете он любит спорить, чаще всего — с упрямой, неуступчивой неподатливой природой. В споре яростен, напорист, как носорог, забывает все на свете — деликатность, дипломатичность, интересы друзей, свои собственные. Уверен, что все на свете можно решить, все можно изобрести, лишь бы взяться как следует. Браться предпочитает с противоположного конца, еще не испробованного. Дело для него превыше всего, отраднее всего — победа над материалом.

Борис Борисович (из «Дельфинии») старше лет на двадцать, грузен, малоподвижен, предпочитает все свободное время проводить на кушетке. Любит вдумываться, любит солидные старинные книги средневековых или восточных философов, где каждая строчка многозначительна и иносказательна — этакий словесный ребус. Любит, когда к нему приходят гости изливать душу, не столько помогает, сколько сочувствует, так сказать, выслушиватель на общественных началах. Утверждает, что каждый живой человек интереснее романа, надо дать ему выговориться. Гелия тоже выслушивает охотно, чуточку с иронией, снисходительной. Уважает за энергию, напор и непреклонность и осуждает неуемную энергию, напор и непреклонность.

Я думаю, что они оба окажутся на месте в институте и в книге, где идет извечный спор сложности с простотой. ББ видит

мир глубже, сложнее и склонен почтительно отступать перед сложностью. Гелий воюет со сложностями, чтобы подчинить и упростить. Глядя из окна на живописные холмы, ББ восхищается нетронутой природой. Гелий, глядя из того же окна, мысленно прокладывает шоссе. «Вы загадите чудесный лес», — вздыхает ББ. «Мне надо бетон возить», — отвечает Гелий.

Могу добавить, что ББ холост, хотя очень ценит нежную девичью красоту. У Гелия все время романы. Их много. Не хочется сплетничать.

Кролики Инфанта

Итак, события происходят в научном институте. Фантастику такого рода я окрестил лабораторной. Сюжеты у нее бывают двух типов: с узнаванием и без оного.

Сюжет без узнавания взрослее. Это просто психологический роман об ученых. Дан институт, научная проблема сообщается в первой главе, не засекречивается, читателя не интригуют. Дан, например, институт, идущий на грозу. Среди научных работников есть смелые, честные, бескорыстные, есть корыстные, бессовестные карьеристы. Идет борьба, честные, конечно, побеждают и попутно побеждают грозу.

Да, бывает так в подлинных институтах. Бывает изредка и иначе: честные и бесчестные бьются-бьются, колеблющиеся колеблются, равнодушные и трусливые стоят в сторонке, беспринципные переходят со стороны на сторону, а грозу побить не могут. Не дается в руки природа.

Сюжет с узнаванием занимательнее. Читателю не сразу сообщается, чем занят институт, автор о грозе помалкивает. Не знает этого и герой. Он посторонний. Самое убогое и серое — он скверный корреспондент, не ведающий, куда его послали. Или же — заблудившийся турист, или озорной мальчишка, перемахнувший через забор, или родственник директора, или чужестранный разведчик, или же жертва злоумышленных зарубежных ученых, похищенная, чтобы ставить на ней опыты. В этом варианте герой ничего не знает, ловит намеки, складывает догадки, читатель гадает вместе с героем.

Инфант настойчиво толкает меня на сюжет с узнаванием. Лаборатория № 17 занимается примеркой тел. Примерка идет на потребителя, не на профессионалов. А потребители — посторонние. Притом люди без специальности, без квалификации. Специалисты не поедут на Белое море в неведомый НИИ.

Без квалификации, но не малограмотные. Нужны такие, которые сумеют внятно рассказать, как они себя чувствуют в новом теле. Лучше — с законченным средним образованием. И вероятно, холостые, поскольку семейные тяжелее на подъем.

Ну вот и определился круг выбора. Холостые, грамотные, без квалификации. Значит, окончили десятилетку, в институты не поступили. Молоды, свободны, немного растерянны, склонны нырнуть в неведомое.

Я долго подбирал имя главному герою. Употребительных имен у нас не так много: около сотни мужских, полсотни

женских. Притом в литературе они приобрели смысловую окраску. Коля — это деревенская нетронутость, чистосердечная простота. Жора (Георгий) — бойкий, ушлый малый, проворный и не слишком честный от излишнего проворства. Андрей и Сергей — символы твердости и правильности. Эдики — отрицательные пошляки и низкопоклонники, любители западных мод, джаза, беспринципные соблазнители. Валентины — из мягкотелой потомственной интеллигенции. Валерки — названы в честь Чкалова, для меня они староваты. Виктор? Витя? Виталий? Ну пусть будет Виталий. Не очень затасканное в литературе имя, городское. Талка, Виталька? Как звучит? Ладно, пусть будет Виталий. Все равно в книге он — я.

Он — я, не потому что он — я. Виталий — рассказчик. Я — автор, предпочитаю эту лирическую форму, поскольку она позволяет отвлекаться в сторону, рассуждать о том о сем, обо всем, что в голову взбредет. Но, конечно, Виталий — не я. Сорок лет разницы как-никак. Единственное сходство: как я, он собирался стать писателем. В отличие от меня поступал на филологический. И не сдал. Из-за характера. Виталий — парень наблюдательный, склонный к размышлениям, любит вдумываться в сложности (а иначе я не поручил бы ему вести рассказ). Он не слишком самостоятелен в жизни, не заводила, неинициативен, но рассуждает самостоятельно, даже самонадеянно. Есть тут и мальчишеская бравада, жажда идти наперекор старшим, независимость показать. В школе это ценили, на приемном экзамене он получил тройку за сочинение. Вздумал критиковать Достоевского. А на литературоведов производит очень плохое впечатление такое неуважение. Не видит величия классика, значит, не понял, не разобрался.

Сейчас даже трудно припомнить, как пришли ко мне товарищи Виталия. Десяток набрался постепенно: семь парией, три девушки, целая учебная группа подопытных кроликов Инфанта.

Илья — математик. Лохматый, неряшливо одетый, неумеренно талантливый абстрактный мыслитель с корявыми неумелыми руками. Нередко такие бывают заносчивыми, способностями кичатся. Но Илья добродушен. Неловкость кажется ему существеннее врожденного дара. Он старательно подражает умелым, без высокомерия консультирует несообразительных. В общем, кролики любят его.

Филипп — обязательный в каждой компании балагур. Очень общителен, потому что не уверен в себе. Смешит, чтобы быть в центре внимания. Готов даже себя выставить на смех. Наедине с собой теряется, впадает в уныние. На людях парень дельный и

исполнительный.

Павел — стержень, хребет группы, самый взрослый духовно. Не слишком способен, возможно, не успел развить ум чтением. Некогда было. Старший брат в многодетной семье, смолоду добытчик и работник. И в обществе сверстников всегда помнит о товарищах, не только о собственных интересах.

Роман — спортсмен, перворазрядник. Не дотянул до мастера. Любит природу, любит действовать, не очень любит думать. Может, потому и не дотянул до мастера. Не сумел перехитрить соперников. «Не сумел навязать свою волю» — называется это в спорте.

Игнат (но Эдик по натуре) — способный малый, мог бы быть дельным, но глубоко убежден, что «работа для дураков». Стезя умного: устроиться, устроить, достать. Разыгрывает бывалого, намекает на влиятельные знакомства. Но в глубине души перепуган, не верит в самого себя, при первом испытании впадает в истерику. Его отчисляют сразу же.

И в книгу он попал, бедняга, чтобы быть отчисленным.

Безымянный соня. Тоже попал, чтобы быть отчисленным. Девиз его жизни: «Где бы ни поспать, лишь бы поспать». Его тоже отчислят, потому что Инфанту не нужны бесчувственные кролики, способные проспать землетрясение. Что они расскажут потом?

Теперь о девушках. Первая — Ольга, моя любимица. Очень хорошая девушка — прилежная, трудолюбивая, принципиальная. И хорошенькая, кроме того: с удивительно тонким лицом и тонкой талией, этакая березка, прорисованная перышком. Почти не подкрашивается. И так хороша, от природы. Сознает свои достоинства и не снисходит до кокетства. Когда-нибудь появится в ее жизни принц, полюбит и будет носить на руках. Так понимает любовь: ее носят на руках. Сама холодновата: Ольга, не Олечка. Несколько пассивна. Ждет, чтобы ей указали, пригласили, помогли. Но терпеливо ждет, без хныканья. Никогда не теряет достоинства, даже в опасных положениях.

Провал на экзамене был большим ударом для Ольги. У себя в районе она была гордостью школы и роно. Привыкла быть отличницей, добивалась успехов настойчиво и сосредоточенно. Не слишком начитанна… не тратила время на внепрограммное чтение. Боюсь, что я добавил каплю дегтя в характеристику образцовой героини. Но это школа виновата. Недостаток от исполнительности.

Ташенька (Таисия — не Наташа) — подруга Ольги, одноклассница, но не отличница. Кургузая толстушка, добросердечная и добродушная, жалостливая, любит детишек,

щенков, котят, птенцов, выпавших из гнезда. Молитвенно влюблена в подругу, но даже не пытается подражать. Скромна… как-то громогласно скромна. Все время подчеркивает свою беспомощность. Может быть, это своеобразная форма кокетства. «Глядите, какая я слабая! Скорее сюда, все на помощь ко мне!»

Алла — антипод Ольги (и Ташеньки). Не очень хорошая девушка в куртке с хризантемами и алых штанах. Способная, даже талантливая, но училась посредственно, потому что всегда увлекалась чем-нибудь: фигурным катанием на льду, Кафкой, шейком, собаководством, киноартистами. Интересуется мальчиками и не скрывает этого. С девочками не ладит, и они ее недолюбливают. Склонна рисковать в отличие от боязливой Ташеньки и разумно осторожной Ольги.

Ну вот, характеры есть, целый десяток, незрелые, способные к развитию. Теперь надо их столкнуть, и завяжется интрига.

Таблица ролей

Ну вот, характеры есть, целый десяток, незрелые, способные к развитию. Теперь надо их столкнуть, и завяжется интрига.

Но разве суть в столкновении характеров? О нелинейной фантастике идет речь.

Я даже не решил еще, кто кого полюбит. Боюсь, что все шестеро парней (кроме полусонного) влюбятся в Ольгу. Мальчишкам свойственно стадное чувство. Все это не так уж важно для Инфанта. У института своя программа испытаний, и она диктует последовательность глав.

Некогда я удивился, прочтя у Алексея Толстого, что он не составляет план романа о Петре. Есть у него характеры, герои живут. Когда обдумывается очередной эпизод, автор решает, кто в нем принимает участие и как действует. Я недоумевал… верный последователь плановости в литературе. Потом понял, что на самом деле план есть и в «Петре». План за писателя составила история. Есть порядок в событиях: свержение соправительницы Софьи, стрелецкий бунт. Азов, Голландия, битва под Нарвой, Шлиссельбург, закладка новой столицы…

Нечто подобное получается у меня с Инфантом. Все кролики проходят через одни и те же эпизоды. Все они завербовались в Инфант, потому что не попали в институты, все встретились на пристани в Беломорске, все ехали на остров на пароходе и в пути попали в аварию, все, и т. д. Обстоятельства были одинаковые: проявлялись по-разному характеры. Я могу составить таблицу по ординате — обстоятельства, по абсциссе — имена. Я даже составил ее.

Вот первая строка: не попали в институт. Почему?

Виталий — из-за неуместной самостоятельности. Оригинальничал, независимость демонстрировал. Не потрафил.

Филипп — из-за несамостоятельности. Скучал в одиночестве за учебниками. Все компаньона ждал. И подготовился плохо.

Илья — из-за неорганизованности. Решил задачу быстро, но зачем-то искал более красивое, нетривиальное решение. Зря потратил время. Не успел переписать начисто. Заспешил, перепутал плюс и минус.

Павел стремился заработать. Мало времени отвел на подготовку.

Алла тоже не успела. Любовь крутила.

Роман уповал на свои спортивные достижения. Но неосторожно подал в институт, где директор был равнодушен к стадиону.

Игнат-Эдик мог бы подготовиться, но он же считал экзамен делом второстепенным. Главное — устроить телефонный звонок. Не удалось. Отец подвел. Заявил, что сам он начинал рядовым солдатом и никто его не устраивал в академию.

Ольгу подвела ее собственная школа. Предъявляла пониженные требования, в Москве девушка не вытянула. И самолюбие не позволяло ей вернуться в родной район с клеймом поражения.

И Ташенька не вытянула, само собой.

Что касается безымянного сони, он все проспал. Вообще, жил на авось. Повезет — примут, не повезет — не примут.

Строка вторая: все десятеро поступили на работу в некий таинственный, по-видимому, закрытый институт: НИИНФ. И вот, встретившись на пристани в Беломорске (могу рассказать, как они были одеты), ребята гадают, что такое НФ.

— Новейшая физика, — уверен Павел.

Виталий, словесник, напоминает, что с буквы Ф начинается много наук: философия, филология, физиология, фототехника…

— Но зачем же филологию помещать в Белом море?

— Институт нерешенных формул, — мечтает Илья.

— Неплановое финансирование, — предполагает Игнат.

— Небесный футбол, — приходит в голову Роману.

А Ташеньке — новые фасоны.

— Институт наивных фифочек, — подкалывает Филипп.

— Нахальных фанфаронов, — готова отбрить Алла.

Так, гадая и зубоскаля, они представляются друг другу и читателю. У кого что на уме.

Не в каждой сценке каждому предоставляется слово. Но я, автор, знаю, что они сказали бы. Сами подсказывают. Появившись на свет, мною же порожденные герои упрямо гнут свою линию. Иному надо бы дать задание, поручить высказывание, а он упрямится: не в моем характере.

А с другой стороны, мне легче. Дан эпизод. И герои готовы. Сами диктуют, как им хочется проявиться.

Необитаемый остров

Именно необитаемый. В Белом море полно таких островков. Скала в полкилометра длиной, мох, черника, корявые, пригнутые ветром к земле карликовые березки. Вокруг молочная мгла, угрюмые туши других скал на горизонте.

Ночная тревога на пароходе. Пассажиров поднимают с коек, сажают в шлюпку, велят грести к ближайшему островку. И вот они выбираются на мокрые камни — семь парней, три девушки.

Я-то, автор, знаю, что это учебная тревога. Инфант испытывает, как ведут себя кролики в чрезвычайных обстоятельствах. Но испытуемые не знают, воспринимают робинзонаду всерьез.

Плачет испуганная Ташенька. Ольга молчит, крепится. Для нее важно всегда сохранять достоинство. А больше всех шумит Игнат. Кому-то грозит, обещает жаловаться, кричит, что «кто-то виноват, кто-то обязан спасать». Но некому звонить по телефону. Тут, на пустынном островке, мастер устраиваться и устраивать теряет почву под ногами. Он в панике и сеет панику.

Павел первым принимается за дело. Дождь идет, холодно, девчонки простудятся. Навес прежде всего. Костер хорошо бы. У кого есть спички? Собирайте дрова. Его примеру следуют Виталий, и компанейский Филипп, и неловкий Илья, и Роман. Филя уже балагурит. Он растеряется только в одиночестве. Его слушают. Смеются. Что еще нужно?

Роман приволок самое большое бревно, плавник нашел в темноте. Гордится силой. На Ольгу посматривает, ждет одобрения. Все они смотрят на Ольгу.

Виталий, конечно, все подмечает, запоминает. По привычке подбирает выразительные слова, чтобы позже записать рассказ о смертельной опасности? А опасность смертельная? Едва ли. В семнадцать лет не верится в реальность собственной гибели. Но все-таки страшновато, сосет под ложечкой.

С утра проблема еды. Черникой не прокормишься. Но есть грибы. И ловится рыба. В Беломорске Виталий разглядел, что тамошние ребята ловят камбалу острыми палочками. Протыкают, так и носят улов, нанизывая. Набирается на жиденькую уху. Трудно ловить: сноровки нет, и вода ледяная. Походи в ней!

День проходит, другой, не появляются спасатели. Павел предлагает строить плот. Кто поплывет рискуя? Кого оставят слабых кормить? Характеры подсказывают.

А соня все спит. Авось обойдется. Когда спишь, меньше есть хочется.

Вертолет прибывает на четвертый день робинзонады, когда Роман, Виталий и Алла отчаливают на плоту. А вы других послали бы?

Волетворцы

Лаборатория номер 1 похожа сейчас на класс. Борис Борисович сидит за кафедрой, откинувшись, зорко поглядывает сквозь прищуренные веки, Гелий бегает из угла в угол, с жаром объясняет задачу восьмерке испытателей. Восемь осталось. Выслушав рассказы о пребывании на острове, Гелий и ББ отчислили двоих: соню, которому рассказать было нечего, и Игната, который только грозил пожаловаться. Крайности: излишнее спокойствие и излишнее возбуждение мешают опыту.

— Итак, вы отправитесь в Беломорск на день, — говорит Гелий. — Вам дается дар превращения. Вы сможете как угодно менять свое тело и лицо в пределах генотипа человека. За пределы остерегайтесь выходить. Наблюдайте, запоминайте все детали…

— Разве можно менять свое тело и лицо? — спрашивает Алла. — Ведь это же гены определяют.

Гелий мог бы ответить, что институт исследует произвольные параметры. Я мог бы ответить, что научная фантастика допускает что угодно, даже то, что науке не понравится. Но мне самому неинтересно описывать невозможное, а Гелию неинтересно исследовать невозможное. И он объясняет (испытуемым и читателям).

В человеческом теле пять систем управления, которые сложились постепенно в течение двух миллиардов лет развития жизни.

Первая система — генетическая. Она обеспечивает повторение формы тела родителей. Благодаря ей от мухи рождаются мухи, от львов — львы. Без нее вид исчез бы в следующем же поколении.

Но генетическая система не увязана с внешним миром, с временами года, теплом, холодом. И природа добавила к ней другую систему управления — гуморальную, соковую, кровяную. Химический состав сока у низших животных и растений регулирует стадии развития и их своевременность, прорастание весной, цветение, плодоношение.

Но гуморальная система слишком медленна, Она пригодна для стадий роста, не годится, чтобы ловить добычу или удирать от хищников. И природа добавила в нее, с медуз начиная, электрическую сигнальную систему: нервную. А к ней — все более сложную программу действий, в зависимости от раздражений извне.

Но нервно-вегетативная, она же безусловно-рефлекторная,

система непригодна в меняющейся обстановке. Она запрограммирована на всю жизнь и подводит долгоживущих животных. Поэтому природа в основном, начиная от рыб, присоединила еще четвертую, условно-рефлекторную систему, систему накопления личного опыта. И создала для нее специальный орган — мозг. И создала критерий для отбора полезных навыков: полезное приятно, вредное причиняет боль.

Но условно-рефлекторная, четвертая система имеет свой недостаток: она сиюминутна. Больно сейчас, приятно сейчас. Кроме того, она эгоистична: больно мне, приятно мне. Для заботы о будущем, для обмена опытом при жизни потребовалось еще одно усовершенствование, пятая система управления: сознание, позволяющее выражать опыт словами и передавать словами.

Казалось бы, получен отрицательный ответ: форма тела зависит от первой системы, и она не подчиняется пятой — сознанию, воле.

Однако в нелинейной природе все гораздо сложнее.

Новые, более совершенные системы проникали в дела старых и постепенно перенимали их. Нервы были созданы для управления движениями, у человека они ведают всеми внутренними органами. А безусловно-рефлекторных движений осталось не так много: отдергивание, мигание. И то можно играть в мигалки, задерживая веки силой волн. Услышав оскорбительное слово, мы краснеем, мы лезем в драку, потеряв соображение. Иначе говоря, слово, сигнал для пятой системы, приводит в действие и четвертую — эмоциональную и вторую — гуморальную. Вспомнив обидчика, вообразив обиду, мы сжимаем кулаки, мы скрежещем зубами. Воображение — вот рычаг воздействия на нижние уровни физиологии.

— Мы в Инфанте усилим связь между всеми системами вашего тела, — говорит Гелий. — Мы подчиним ваши гены сознанию. Вам надо будет вообразить желательную форму, и вы получите новое лицо через две-три минуты, новое тело — через десять-пятнадцать.

— А зачем это нужно? — спрашивает Ольга.

— Разве вы довольны сами собой? — спрашивает Гелий быстро.

Вообще-то, Ольга довольна, но кто же признается в таком самомнении? Она молчит. А парни начинают фантазировать.

Виталий, например, хотел бы мысли читать. Очень нужно это начинающему писателю.

Илья, к удивлению, хотел бы усовершенствовать математические способности. Он выше других в математике, но недоволен своим уровнем.

Однако Гелий ставит условия:

— Чур, мозг не менять. Сначала разберемся с телом. А то напортите — не восстановишь. И еще одно условие: тело любое, но череп вместительный, чтобы сохранить и разум и память.

Маскарад

Это центральная и самая объемная часть романа. Здесь узел, здесь главный опыт, основные приключения.

А в рассказе о романе — несколько страничек. При изложении замысла обоснования занимают больше места, чем действия.

Итак, в маленьком лесо-рыбном Беломорске сразу восемь волшебников, восемь Протеев, меняющих внешность по выбору.

В сомнении они сначала: как же менять внешность?

Виталий (рассказчик) долго раздумывает. Нет у него планов на перелицовку. Потом решает превратиться в Гелия. Тут ревность играет роль. Виталий подозревает, что Ольга неравнодушна к их наставнику.

А где Ольга? Три Ольги сразу. Ольга — подлинная, вторая — Ташенька, конечно, для той подруга — идеал. А третью нипочем не угадаете. Третья Ольга — Филипп. Для смеху и из любопытства Филя принял образ девушки. Не нравится. Парни пристают, напрашиваются на знакомство.

Гелий распознает мнимых. Одна Ольга балагурит, другая все жалуется на беспомощность.

Это я для кино придумал такой эпизод. Представьте, как интересно артистке сыграть три характера в одном облике.

И подлинная Ольга охотно отходит в сторонку с мнимым Гелием. Но он-то оказывается несостоятельным. Не может ответить на серьезные вопросы, не может о себе (о Гелии) рассказать. И стыдно ему становится: вроде чужое платье надел, чужие тайны подслушивает. Поспешно скрывается, чтобы снова стать Виталием.

Прибегает Филипп (и этот вернулся в свой облик). Сообщает, что Роман осуществляет свою мечту. Он видоизменил тело, приспособил для мирового рекорда, собирается выступать на стадионе. У Филиппа озорная идея: он просит Илью и Виталия, главных выдумщиков, изобрести ему сверхрекордное тело так, чтобы обставить Романа.

«Выдумщики» предлагают Филиппу довольно уродливое тельце: тонконогое, обтекаемое, с головой, убранной в плечи. А на макушке шип, как у сверхзвуковых самолетов, воздух пробивать.

И этот уродец ставит рекорд, обогнав опытного и умелого Романа.

Спортсмен оскорблен и обижен. Он произносит речь, самую длинную в своей жизни, о честности в спорте. На беговой

дорожке сравниваются сила, воля, опыт спортсмена… а не обтекаемость, придуманная хитроумными конструкторами тел. Это уже не бег, это соревнование моделистов.

А друзья возражают, что Роман и сам моделировал свое тело, стало быть, поступал не по-спортивному.

Дискуссия возникает вторично между Аллой и Ольгой. Алла перелицевалась по-своему. Длинноносая сутуловатая девушка превратила себя в смуглую испанку с воронеными косами, талией в рюмочку, соболиными бровями. Оригинал известен — популярная киноартистка. С успехом Алла выступает в местном парке культуры на эстраде, ей бросают букеты цветов. И вот теперь возмущена Ольга. «Человек должен быть таким, каков он от природы, — утверждает она. — Перемена внешности — обман. Это новая форма притворства».

Но Алла за словом в карман не полезет.

— Ты за биологический феодализм, Олечка. Ты родилась красивой. Так это же заслуги родителей, не твои. Нет, внешность надо менять по собственному вкусу. По крайней мере, вкус демонстрируешь.

— Или вкус портнихи, — парирует Ольга. — Или ум друзей, как Филя показал на стадионе.

А Павел считает, что все равно, откуда взялась красота.

— Каждая девочка имеет право на красоту. Пусть всем приятно будет жить, а нам приятно смотреть на всех.

Сам Павел не стал менять тело. Но зато он нашел людей, которым менять необходимо. В городе есть санаторий для маленьких детей. Среди них искалеченные и парализованные полиомиелитом. Павел прибежал посоветоваться. Им-то сделали прививку в Инфанте: гены волетворчества у них в крови. Можно ли перелить кровь маленьким больным? И сумеют ли они сосредоточенно воображать несколько минут? Нельзя ли их лечить заговором, внушая, что вы здоровы, здоровы… здоровы?.. Может быть, опыты на котятах поставить? Но не вообразит ли себя котенок львом?

— Ой, не надо мучить котят, — просит Ташенька.

Девушки отправляются вслед за Павлом. Предпринимать ничего не собираются, хотят только поговорить о новом лечении с врачами. А ребята остаются выручать Филиппа. Чемпион попал за это время в беду.

Игнат оказался на трибунах. Отчисленный застрял в Беломорске, приметив, что тут можно «прибарахлиться». Завел себе дружков в универмаге, они тоже были на трибунах, Игнат привел к ним Филиппа, и гордый победитель забега чистосердечно рассказал, что у него этакая прививка в крови —

он может стать каким угодно. Сам-то Игнат не замышлял никакой уголовщины. Его мысли вертелись в круге «устроить — устроиться». Но парни, которые устраивали ему меховую куртку, смекнули по-своему.

— А можешь ты стать богатырем? — спросили они.

Филипп был рад показать свои возможности.

— А можешь стать маленьким, щупленьким?

Филипп продемонстрировал.

И тогда парни, накинувшись, связали его, затащили в подвал и себе перелили его чудодейственную кровь.

И ограбили кассу универмага. Один притворился директором, вызвал к себе кассиршу, другой принял облик кассирши, вынул из сейфа деньги.

О похищении Филиппа рассказал Виталию перепуганный Игнат. Об ограблении парень не знал, но понимал, что впутался в уголовщину. Умолял не выдавать его, обойтись без милиции.

Как разыскать Филиппа?

Роман соглашается стать человеком-ищейкой. Особенного уродства тут нет, он только обостренное чутье приобретает.

Долгий (в романе) путь по следу. Филиппа удается найти, спасти, прежде чем он истек кровью.

Не менее долгая и опасная погоня за преступниками, меняющими свой облик. Их удается настичь. Ребята сами хотят их поймать, чувствуют ответственность за то, что внесли беду в город. В конце концов грабители сами себя губят. Не зная правил превращения, они принимают облик волков, чтобы укрыться… Но в черепе волка не помещается разум человека. И они забывают «Сезам, откройся». Навеки остаются волками.

На обратном пути из леса Роман, Илья и Виталий слышат сирену. В городе бедствие. Горят окрестные леса. Огонь подошел к окраинам. И угрожает детскому санаторию.

Павел и Алла, превратив себя в амфибий, неуклюжих, обросших жиром, чтобы не замерзнуть, переправляют детишек через пролив на ближайший островок.

Но один корпус отрезан пламенем. И там Ольга.

Надо пробиться туда. Противопожарное тело требуется.

Придумывают его для Виталия. Больше некому.

Пусть будет кожа как у носорога.

Под кожей изоляция. Жир? Нет, лучше воздух. Подкожные легкие. И в них запас кислорода. Можно вообще не дышать ртом.

Толстенный, словно подушками обложенный со всех сторон, Виталий кидается в горящий дом. Главное, обещаю, что Ольгу он вынесет на руках. Но не обещаю, что Ольга полюбит его. По литературной традиции полагалось бы. Но 17-летним девушкам

их сверстники кажутся такими детьми. Гелий нравится Ольге гораздо больше.

На рассвете, глотая горький дым чадящих головешек, обтекаемые амфибии и огнеупорные толстяки сидят в кабинете председателя горсовета.

Их благодарят за помощь. Предлагают работу и квартиры. Городу нужны люди с редкими талантами: огнеупорные, плавающие, как тюлени, выслеживающие по запаху… Лесные пожары, увы, не редкость, и всегда есть что выловите из воды.

Но кролики Инфанта жмутся, с отвращением глядят на свои жабры и огнеупорные подушки.

— Мы научные работники, у нас особое задание, — говорит Виталий.

Павел, всегда готовый прийти на помощь, предлагает приезжать по воскресеньям.

— Главное, детей лечить, — напоминает Алла.

Смотря где

— Ну и как вы решили, стоит овчинка выделки? — спрашивает Борис Борисович. Он сидит в кресле, прищурив глаза, а Гелий расхаживает из угла в угол. Не волнуется, энергия пышет.

— Не стоит, — говорит Ольга. — Человек должен быть человеком.

— А детишек лечить? — спорит Алла.

А Виталий говорит:

— Смотря где.

Это главные слова. Из-за них построен Инфант.

Среди вас, читателей, среди нас, писателей, есть любители простых решений: «да — нет», «плохо — хорошо». Но обширная природа не укладывается в такие рамки. И обширное открытие тоже.

Можно все это вместить в рассказ? Рассказ по размеру своему тянет к линейности. Взял чужую внешность, чужой ум не получил. Не надо! Вернул малышу здоровье. Надо! Получил дар превращений, сделался зверем и не можешь вернуть человеческий облик. Не надо! Прижми ученых, придумывающих невесть что.

«Надо — не надо» укладывается в рассказ.

Для «смотря где» нужен целый роман.

ППП и ПП

Страсти бушуют. «Стоит — не стоит». «Надо — не надо». Спор идет и в рабочее время, и в столовой. Юные кролики мыслят пока линейно, каждый видит одну сторону, свой личный опыт. И тут является Филипп с криком:

— Чуваки, нас продали! Все обман!

Филипп не был сегодня на занятиях, его положили в больницу. Но чувствовал он себя превосходно, синяки и раны исчезли чудодейственно. Филя скучал в пустой палате. И он сбежал. Побродил по парку, потом с заднего двора забрел в технический корпус. «Что стоишь, малый, помогай тащить!» — крикнули ему. Филя подставил плечо… И постепенно, из разговоров монтажников узнал то, о чем читатель догадался с самого начала. Догадался?

Не было никаких превращений, не было поездки в Беломорск, не было стадиона, грабителей, наводнения и пожара. Были проекторы произвольных параметров — ППП. Проекторам давались «вводные»: программа пожара, программа ограбления; параметры изображались на экранах. А кроме того, была еще приставка присутствия — ПП (я, автор, еще не сконструировал ее мысленно, но думаю, что Гелий сможет — он все может, человек с КПД 1200 процентов). И приставка ПП внушала зрителям, что они присутствуют на экране, принимают участие в событиях.

Филипп горевал и возмущался больше всех. Такие героические события вошли в его жизнь: выпытывали тайну, похищали, заперли, кровь выпускали, на смерть обрекли. На всю жизнь рассказывать! Все мираж. Привиделось, приснилось. Украли геройство у Филиппа.

— Вы нас продали! — крикнул он входящему Гелию.

И другие накинулись:

— Ложь! Аморально! Безнравственно!

— А что же вы хотели? — Гелий с трудом разобрался в мотивах крика. — Хотели, чтобы вас, неопытных, непрактичных, кинули с опасным даром в гущу жизни? Да вы бы себя загубили и черт знает сколько напортили.

— Но зачем обман? — настаивает принципиальная Ольга.

— Не получается иначе. Нет искренности в переживаниях. В памяти хранится: «Это опыт, только опыт». Пробовали мы с научными сотрудниками. Подсознательно помнят об опыте. И просыпаются в минуту напряжения. Все время приходится набирать новичков.

Кролики продолжают шумно возмущаться. И тут раздается

жалобный голос Ташеньки:

— Значит, мы не нужны больше?

И все замолкают. Страшнее всего отчисление, прощание с увлекательными опытами Инфанта.

— А это от вас зависит, — говорит Гелий. — Полноценными испытателями вы сейчас не можете быть. Но полно работы в технических корпусах. Филя видел их.

— И кролики станут ишаками, — подхватывает Филипп, уже улыбаясь.

— И это от вас зависит, — повторяет Гелий. — На чем остановитесь. В институте полно научной работы. Учитесь, станете такими же, как мы…

— Зубрами, — подсказывает тот же Филипп.

Но это уже другая книга о нелинейной фантастике. Первая — «Кролики Инфанта», вторая — «Зубры Инфанта». Восемь зубров, восемь отдельных новелл.

Характеры известны. А какие темы они выберут, можно представить себе. Я уже сделал прикидку.

* * *

Ну вот и все. Остается написать роман.

Начать можно так, например:

«Черное море бывает черным только ночью, Красное никогда не бывает красным, а вот Белое действительно оказалось белым. Было оно матовым, цвета чая с молоком, и у горизонта сливалось с таким же матово-молочным небом. И в этом мутном месиве темнели туши островов. Они были похожи на купающихся медведей, или быков, или динозавров…» Некоторое время я упражнял воображение. Не хватило на все острова…

Я обязательно напишу о нелинейной фантастике… в свое время. Я уже подал заявку на 1985 год.

А пока — рассказ о романе. «Диагональные», поддерживайте!

1976, № 8
Карен Симонян
ДЕЖУРНЫЙ

Научно-фантастический рассказ

Двор был большой, и в нем — несколько деревьев, кустов, немного песка и маленький бассейн. А еще было во дворе здание с плоской кровлей, в котором жили люди, приезжавшие с Земли. Они и создали (много десятилетий назад) этот двор — кусочек земного шара на отдаленной, пожалуй, самой отдаленной планете.

Из рассказов взрослых мальчик знал, что вначале люди приезжали по одному, потом с семьями или друзьями Пробыв на планете пять лет, возвращались на Землю.

Мальчик проводил во дворе целый день — играл во все те игры, которым научился еще на Земле: строил из влажного песка

египетские пирамиды, города с прямыми проспектами, ракетодром, запускал в бассейн флотилию из бумажных корабликов… А в последнее время все чаще сидел под одним из деревьев, молча всматриваясь в небосвод. Вечерами, когда сгущались сумерки, в неподвижной фигурке его угадывалось особое напряжение: мальчик играл в дежурного. Это была игра новая, мальчик выдумал ее сам и, хотя временами ему становилось ужасно скучно, дежурства своего не бросал, пока не окликала его мать:

— Уже поздно, малыш!

— Умойся, — говорила мать, — вот-вот придет папа.

На бесконечном черном пространстве перемигивались тысячи искрящихся точек — звезд, и солнце тоже было среди них. Долгое время мальчик не мог примириться с тем, что Солнце, огромное и ослепительно яркое, кажется с этой планеты маленькой светящейся звездочкой. Потом привык. Но все равно каждый вечер упорно старался определить, какая же из этих точек Солнце.

— Сколько осталось до нашего возвращения? — спрашивал мальчик мать каждый вечер.

— Немного, — отвечала она каждый вечер.

«Немного» означало годы, месяцы, дни, и каждый вечер это «немного» чуть-чуть уменьшалось. Однако отец не радовался — наоборот, он становился все более озабоченным, грустным немногословным. Мальчик давно уже не видел его улыбающимся.

— Папа сегодня вернется веселым? — спрашивал мальчик.

— Не знаю. Может, грустным, а может, веселым.

— Раньше он бывал грустным, — вспоминал мальчик, — но, приходя с работы, улыбался, целовал меня.

— Он и сейчас тебя целует.

— Но не улыбается, — возражал мальчик.

— Потому что день ото дня приближается время смены и нашего возвращения.

— Но ведь этому надо радоваться.

— А он вот грустит… — вздыхала мать, и трудно было понять, продолжает ли она разговор, или пытается найти ответ собственным мыслям и сомнениям.

Но мальчик был упорным, дотошным и, стремясь докопаться до истины, снова спрашивал:

— Почему?

— Я и сама не знаю. Слышала только, что все, кому привелось нести здесь дежурство, возвращались на Землю грустными. И смотрели на людей с виноватой улыбкой, словно просили у них прощения.

— А почему папа сегодня запаздывает?

— Не знаю. Он всегда приходил вовремя…

Вот уже четыре года отец нес дежурство на этой далекой планете. Все дни он проводил в небольшом помещении, расположенном в заднем дворике: сидя у пульта управления, отец внимательно следил, не отзовется ли антенна, установленная в десятках километров отсюда, на сигналы из иных миров.

Много десятилетий назад было начато людьми это дежурство. Однако молчание вселенной не нарушалось; и ни разу не прорывались еще сюда позывные с других планет.

А люди продолжали нести дежурство и спустя пять лет возвращались на Землю обманувшимися в своих надеждах. И новые дежурные начинали на далекой планете пятилетнюю вахту, твердо веря в свою удачу.

— Здесь проведем мы и следующую смену, — все чаще говорил отец.

— Нельзя, этого все равно не разрешат! — возражала мать.

— Если будет необходимо, мы пробудем здесь и пятнадцать и двадцать лет! — упорствовал отец, сердито вышагивая по плиткам, устилавшим пол.

В такие минуты мать умолкала, и во взгляде ее, устремленном на отца мальчика, угадывались боль и тоска.

…Снаружи послышались шаги. Мальчик посмотрел на мать, и оба поспешно сели за стол. Третий стул был свободен. Через несколько минут на этот стул сядет отец. Они молча поужинают, побеседуют полчасика о самых грустных на свете вещах и разойдутся по своим спальням.

…В дверном проеме, на фоне черной грунтовки неба, стоял отец — высокий, широкоплечий, светловолосый.

— Папа! — вскричал мальчик, не сумев сдержаться, потому что отец улыбался, и улыбка эта показалась мальчику такой же странной, как в первое время пребывания на планете казалось ему странным Солнце величиною с маленькую звездочку, Солнце, которое не грело и не светило.

— Добрый вечер, — сказал отец. — А не наскучило ли вам здесь?

Ответом было вопрошающее молчание, и отец рассмеялся.

— Ничего, осталось уже совсем немного! Скоро вернемся на Землю и сразу поедем к морю. Будем валяться на песке, будем загорать под настоящим солнцем! Ну что вы молчите?!

Он сел на свободный стул, и все принялись за ужин. Отец был необычайно словоохотлив, шутил, вспоминал Землю, скалистый утес на берегу Севана и пещеру, в которой согласно древнейшему преданию жил отшельник, ненавидящий людей.

— Что же все-таки произошло? — спросила в конце ужина мать.

— Ничего неожиданного, — сказал отец. — Сегодня я засек сигналы. Понимаешь, обыкновенные сигналы. Значит, дежурство напрасным не было. Скоро вернемся на Землю. Мы свой долг выполнили, не так ли? И тем, кто сменит нас здесь, будет легче дежурить. Но мы… Нет, не зря провели мы здесь годы. Вот если бы не удалось уловить сигналы, тогда б получилась сплошная глупость!..

Они засиделись допоздна. Отец говорил, что людям, конечно, удастся установить контакты с теми, кто послал сигналы во вселенную, и жалел, что к тому времени он состарится и не сможет быть участником экспедиции на долгожданную планету.

— Ничего, — успокаивал его сын, — я буду уже взрослым и полечу сам. А ты не станешь без меня грустить, правда?

— Главное, чтоб никогда не довелось грустить тебе, — отвечал отец, — самое главное это. И помни — тот, кто сделал что-либо хорошее для людей, обычно не знает грусти. И Солнце приближается к нему, становится все больше и больше, становится огромным, ослепительно ярким, самым прекрасным в мире светилом. Хочешь, посмотрим на Солнце?

Отец и сын подошли к окну. По ту сторону окна, по ту сторону прозрачного купола, на черном небосводе всеми цветами радуги переливались тысячи искрящихся точек, и одна из них была Солнцем.

— Видишь, какое оно большое и яркое? — шепотом спросил отец.

— Вижу… Я никогда в жизни не видел такого большого и яркого Солнца… — отвечал ему сын, не отрывая взгляда от маленькой светящейся точки, которая была Солнцем.

Перевела Эмма Кананова

1976, № 9
Конрад Фиалковский
КОСМОДРОМ

Рис. Р. Авотина

Известный польский ученый, специалист по проблемам международного сотрудничества в области науки и техники, профессор Конрад Фиалковский побывал во многих странах — в СССР, Венгрии, Чехословакии, Болгарии, на Кубе, в ФРГ и Англии, США и Бразилии. Маршруты его фантастических произведении ведут еще дальше — к иным мирам.

«Наука — это детище человека — не должна противопоставляться гуманистическим идеалам своего творца» — этот принцип, вынесенный им из длительных поездок и путешествий, надежно служит Фиалковскому-писателю. Многие его произведения посвящены нелегким звездным дорогам, острым вопросам освоения космоса.

Конрад Фиалковский — признанный мастер научно-фантастической новеллы.

Прокладывали две бетонные полосы. Две полосы, которые

должны встретиться там, где в будущем забелеют купола космического порта. Но сейчас в том месте только осыпь и воронка, вырытая каким-нибудь метеоритом несколько веков назад.

Прокладывали эти полосы и проклинали и марсианскую пустыню, и автобульдозеры, убирающие камни, и красный песок, и считали оставшиеся дни.

— Знаешь, Джесс, как вернусь на Землю, засуну комбинезон в самый темный угол чердака, а шлем водружу на палке в огороде — пугать птиц, которые прилетают на грядки к моей матери. Потом сядем с Мэй в геликоптер и полетим к большому настоящему лесу с грибами и земляникой. И там обязательно должна быть река… или лучше озеро… да, озеро с горячими от солнца валунами по берегам, такими горячими, что на них нельзя наступить.

— И так поджаритесь оба на солнце, что семь шкур с вас сойдет… — Джесс широко улыбнулся, и вокруг глаз собрались маленькие морщинки смеха, заметные даже на экране.

— Во всяком случае, с меня; Мэй в это время года уже черная, как негритянка. Всё эти паруса; Мэй всегда говорит, что человек нигде так не загорает, как на яхте.

— И под ультрафиолетовым излучателем…

— Что — излучателем? — Дон не понял и посмотрел на Джесса своими большими карими детскими глазами.

— Я говорю, ультрафиолетовый излучатель дает тоже хороший загар.

— А я имею в виду настоящий загар, который бывает от солнца.

— С этим тебе придется еще немного подождать.

— Всего четыре дня. Я уже вижу ту дюну, до которой дойдет моя полоса. Это будет в субботу. Потом вытянусь в гамаке около видеотрона и буду смотреть матч между Австралией и Мадагаскаром с Земли. Матч закончится перед нашим рассветом, а когда взойдет Солнце, за нами прилетят.

— Если только не опоздают. Центральная база очень часто опаздывает…

— Нет, они не поступят так с нами…

— Да, не поступят… — повторил Джесс, однако совсем не был в этом уверен. Ведь Ар не улетел с Марса однажды, когда хотел. Только собрался спросить Дона, знал ли он Ара, но в это время автомат начал сигнализировать о каких-то твоих затруднениях с проходкой грунта, и Джесс вышел из кабины посмотреть, что случилось. Спустился по лестнице возле могучей гусеницы, над которой висела кабина, и сразу очутился по колено

в песке. Песок был красного цвета, как и все на Марсе; только местами блестели кристаллики кварца.

«Совсем как в обычном песке», — подумал Джесс. Потом побрел вдоль гусеницы к передней части машины и, когда прошел гусеницу, почувствовал толчок ветра в грудь, в шлем и увидел, как над песком кружатся маленькие быстрые вихри. Наверно, шла буря.

«Сначала это всегда так выглядит», — подумал он и посмотрел на небо. Но небо было черное, звезды и Солнце светились как обычно.

Внизу перед бульдозером лежал огромный валун, слишком большой для металлической лапы.

Джесс вызвал автомат и, пока тот бурил дырки под динамит, смотрел в пустыню, где далеко-далеко, у горизонта работал автобульдозер Дона.

Эти две полосы сойдутся вместе, образуя огромную букву V — символ победы Человека в столь отдаленном месте.

Еще четыре дня… Он повернулся и, чертыхаясь, поплелся к кабине для того, чтобы отодвинуть машину на время взрыва.

* * *

Встретились вечером на базе. База была временной и не имела кондиционера. Ночью, когда температура снаружи опускалась до минус шестидесяти градусов, становилось холодно, несмотря на центральное отопление купола. Лежали тогда в спальных мешках с электрическим подогревом. Вечером, однако, было теплее, и они ходили по базе в скафандрах.

— Отмахал сегодня хороший кусок, — сказал Дон, как только вышел из шлюза. — Моя дюна теперь гораздо ближе.

— Мне попалась какая-то чертова скала, два раза взрывал, — Джесс говорил без озлобления, равнодушно.

— Завтра, пожалуй, немного сделаем, идет песчаная буря. Хотелось бы все же дотянуть до той дюны.

— Дотянешь, если пустыня не покажет клыки и не будет плеваться песком все эти дни.

Джесс кончил готовить ужин, и развалился в кресле, вытянув ноги.

— Так или иначе через три дня возвращаемся.

— Возвращаемся, — повторил Джесс, наблюдая, как Дон выбирал из банки большие куски свинины. «Пожалуй, это единственная форма астронавтики для свиней», — подумал он и усмехнулся.

После ужина Дон включил видеотрон, и они посмотрели какой-то китайский театр с драконами и зонтиками. Цвета были немного искажены, и Джесс подумал о том, что случилось, если бы у людей были действительно такие светло-зеленые лица, как на экране. Спросил Дона.

— Ничего бы не случилось, люди бы привыкли, — ответил Дои.

— Считаешь, что можно было бы привыкнуть к зеленому лицу и говорить: «Ах, как чудно раззеленелось»?

— Наверно.

— Гм… я, пожалуй, не привык бы…

— А к пустыне привык?

Джесс посмотрел на Дона. И разозлился на него неожиданно, потому что о пустыне они говорить избегали. Она и так окружала их всегда. Временами Джесс даже думал, что она не оставляет их и здесь, на базе; проходит через входные шлюзы, для того чтобы сопровождать их и ночью. Он не любил пустыни, и Дон знал об этом.

— Может, выключишь видеотрон и послушаешь Центральную? — сказал он Дону.

— Выключу, только сначала хочу услышать прогноз погоды для Европы. Не хотелось бы вылезать из ракеты в дождь.

— Мать принесет тебе плащ на Космодром.

— Да, придут с Мэй и принесут плащ, — согласился Дон.

— А я промокну… — буркнул Джесс.

— Не любишь дождя?

— Люблю, если сижу дома и смотрю в окно.

— Тебе следует остаться на Марсе. Здесь никогда не бывает дождей.

«Что он сегодня ко мне прицепился? — подумал Джесс. — Ведь это у меня была скала, а не у него; и вообще он больше сделал».

— Да, но здесь песок, красный песок, а это еще хуже, — сказал он.

— В Европе не будет дождя в ближайшие дни, — сказал Дон и выключил видеотрон.

* * *

Потом настраивались на Центральную. У Центральной был чудной прерывистый сигнал, как будто кто-то бросал камешки на барабан. Ее передатчики были немного расстроены, и сигнал блуждал в пределах нескольких делений шкалы — каждый день в

другом месте. Сегодня был точно на риске. Джесс сказал в микрофон, что он на приеме, и теперь оба ждали, когда на Центральной наконец ответят.

— Чем они, собственно, занимаются на этой базе? Никогда вовремя не готовы, — заволновался Дои.

Джесс смотрел на фосфоресцирующий в темноте указатель настройки и думал, получил ли уже отец сообщение о его возвращении. В полдень рассыльный стучит в его кабинет: «Телеграмма с Марса, господин профессор». Отец, наверно, сидит за письменным столом в своем сером, немного тесноватом пиджаке, массивный, квадратный, чересчур большой для своего кабинета. «Тебе следовало бы быть лесорубом, а не физиком», — смеялась всегда мать. Джесс пробовал представить себе отца лесорубом, но ему это как-то не удавалось. Только как физик отец казался самим собой. Джесс тоже должен был стать физиком, но не стал… жаль.

— Жаль, что не стал физиком, — сказал Джесс.

— А хотел?

— Не я, отец.

— А ты?..

— Я хотел стать астронавтом.

— Поздравляю, — сказал Дон. — Я хотел стать пилотом, но не получилось. Когда стукнуло столько лет, сколько нужно, самолетами управляли уже только автоматы; лучше, чем эти передающие автоматы с нашей базы…

— Наверно, у них нет опытного техника.

— Нету. Тот, который был раньше, сбежал на Землю.

— И отпустили его? — удивился Джесс.

— Не совсем добровольно. Забрала его ракета «скорой помощи» с психиатром. А теперь там молодой парень, сразу после земного политехникума.

— И не справляется, — сказал Джесс и одновременно подумал; «Обижаю пария, разве кто-нибудь после земного политехникума смог бы обслуживать такие автоматы?»

— Начинают говорить, — Дои старательно настраивал приемник. — Возьми наушники.

— Не хочется, — ответил Джесс, ему действительно не хотелось.

Посмотрел на Дона, и ему показалось, что слишком внимательно слушает сообщение с базы.

— Что тебе там за проповеди читают?

Дон махнул рукой. Коротко сказал:

— Слушай!

Джесс надел наушники и сквозь атмосферные трески

услышал того, с базы:

— Нет, ничего из этого не получится. И не пробуй мне даже объяснять. Я же тебе говорю, что никого другого на это место нет. Есть только Рой, но и он пока немногое умеет. Роя пришлю через три дня. Но один из вас должен остаться…

«Опять, — подумал Джесс, — опять кто-то с базы все завалил». И он почувствовал себя так, как когда-то в детстве, не получив обещанного велосипеда.

Дон покраснел.

— Делайте что хотите… Мы сматываемся отсюда через три дня. Меня не касается, что кто-то там наверху не обеспечил вовремя смену с Земли…

«Сейчас скажет им, что думает о такой организации работы», — подумал Джесс, но Дон не сказал этого.

— Это не наша вина, — объяснял тот, с базы. — Ты считаешь, что охотники на эту стройку прут к нам?

— Пусть тебя не волнует то, что я считаю. Но смена должна быть. Не останавливать же стройку?

— Ясно, не останавливать, и поэтому одни должен остаться. Должен, понимаешь? И ракеты отсюда будут стартовать еще до марсианской зимы.

«Тот, с базы, тоже уверен в этом», — подумал Джесс и поправил наушники.

— Может быть, и будут стартовать, если автобульдозеры сами будут копать в этой пустыне… Но нас это не касается, понимаешь!

— Но Центральная…

— Иди ты со своей Центральной…

Джесс кивнул головой.

— Понятно, Дон, — и подумал, что теперь того разбирает. Ему стало весело, хотя он и понимал, что это не вина того, с базы, и что тот, может быть, даже свой парень, просто у него такая работа.

— Как хочешь, — сказал тот, с базы. — Во всяком случае, Рой прилетит на одноместной ракете, а это такая ракета, в которую только один человек с трудом влезает. И мы считаем, что возвратиться имеет право тот, у которого длиннее полоса.

— Но…

— Никаких «но». И передай это второму или давай его лучше к микрофону…

«Черт бы тебя побрал», — подумал Джесс.

— Ну я тот, второй, и хочу вам сказать, что вы порядочные свиньи, — сказал он прямо в микрофон.

— Порядок, — успокоился тот. — Ну, пока. Держитесь, вы…

космонавты пустыни.

Опять забарабанили сигналы с базы, и Дои снял наушники Разговор был окончен.

— И что дальше? — спросил Джесс.

Дон пожал плечами.

— Во всяком случае, не могут нас заставить вечно копать.

— Не могут, — Джесс кивнул головой, — но могут нас заставить сидеть на этой базе так долго, как захотят.

— Ну и что из того?

— А то, что если будешь здесь сидеть, то будешь работать.

— Не буду.

— Будешь, потому что иначе подохнешь от скуки. И потом, ты не из тех типов, которые сидят со сложенными руками, когда работа еще не сделана. Они об этом знают.

— Какого черта все время говоришь обо мне? А ты?..

— Я тоже.

— Что тоже?

— Тоже буду работать.

— Закончишь и захочешь отсюда улепетнуть. Нет, братец. Не так быстро… моя полоса длиннее твоей.

— Ты болван, — сказал Джесс и пошел к своему креслу. «Думает, что хочу забрать у него место в ракете, как будто оно уже ему принадлежит».

— Это место тебе еще не принадлежит, — сказал он вслух. — За три дня можно положить около двух километров полосы, а то и больше, как выйдет.

— Можно и четыре, — сказал Дон и стал рассматривать конец своего ботинка, вымазанного маслом.

— Можно, но ты не положишь… — Джесс усмехнулся. И подумал про себя: «Тебе надо работать и день и ночь, и то не знаю, сделаешь ли».

Дои встал, пнул кресло так, что оно перевернулось.

— Положу, а потом вернусь на Землю, и черт с ней, со всей этой стройкой.

Он снял с крючка на стене шлем.

«У него такая огромная спина, — подумал Джесс, — три баллона запросто умещаются. Мать родила его космонавтом, наградив такой спиной и короткими ногами, которые не мешают в ракете. А может, потому и стал космонавтом, что у него такая спина и ноги…»

— Успеха, космонавт, — сказал он, когда Дон подошел к шлюзам. Хотел перевернуться на другой бок, но в это время его окликнул Дои:

— Помоги мне у шлюзов, по-моему, их немного засыпало.

— Буря?

— Может, и буря… — буркнул Дон.

— Включаю очиститель выхода, — сказал Джесс и включил автомат. Очиститель загудел, как слепень, а когда выход очистился, превратился в комара и тоненько пищал на высоких оборотах.

Джесс тоже надел шлем и вышел наружу. Звезд не было, услышал только шум песка, бьющего в скафандр.

— Черт, ну и сыплет…

— Закрой как следует шлюзы, — сказал Дон, — а то завтра опять будет везде песок.

— Хочешь идти в такую бурю? — спросил Джесс.

— Пойду. Пошлю сигнал бульдозеру, чтобы давал мне по радио пеленг…

— Будут помехи. Такая буря…

— Ничего.

Ветер ударил так, что он зашатался.

— Может, останешься Такая буря не для прогулок.

— Ходил и не в такую бурю — с Земли даже было видно.

«Чертовски упрямый тип, такой пойдет», — подумал Джесс и сказал: — Героев тоже засыпает.

— Тебя на базе не засыплет, — ответил Дон. Он отошел на пару шагов, и его не стало видно, несмотря на то, что у Джесса был фонарь с новыми батарейками.

— Закрой как следует шлюзы, — сказал еще раз Дои, — а то завтра будет везде песок.

Джесс слышал его так, как будто он стоял в метре от него, — радиоволны долго не затухают даже в таком песке. Он открыл шлюз, и ветер выпихнул его вместе с песком на середину. Очистил скафандр и пылесосом сиял песчинки Потом подошел к приемнику и настроился на волну автобульдозера Дона. Автомат работал, передавал короткие, прерывистые сигналы, как будто звал кого-то, и прерывал зов при первых же звуках, боясь сообщить полное имя в марсианскую ночь среди песчаной бури.

…Утро было солнечное и тихое, как на проспектах «Марс туриста». Джесс обошел базу вокруг и увидел, как под слабыми ударами его шагов с незаметных неровностей купола базы осыпается песок. Холмы по краям долины были скрыты небесной мглой. Вверху черным пятнышком Фобос бежал на встречу с Солнцем.

«Когда-нибудь соорудим здесь атмосферу, привезем воду и растения, и рассвет будет совсем земной», — подумал Джесс и пожалел, что он не свой же праправнук.

Потом залез по металлической узкой лестнице на мачту

радиостанции и посмотрел на две белые полосы, бегущие к базе. Они были такими же далекими, как всегда.

«Все-таки Дон ближе… на те несколько сотен метров», — подумал он.

Автобульдозер Дона почему-то не работал. Джесс прыгнул с мачты (марсианская гравитация все еще забавляла его) и начал свой ежедневный марш к автобульдозеру. В начале строительства их доставлял вездеход, но с неделю назад он сломался. Так они и ходили ежедневно через красное песчаное море. На расстоянии около пятисот метров от базы торчал большой камень. Он находился на линии строительства, но Джесс до сих пор думал, что только его преемник разорвет динамитом этот красный валуи.

«Привык к этому камню, и не хотелось бы делать это самому», — подумал он, проходя мимо него.

Через пару минут Джесс увидел черную точку. Это из-за горизонта появлялась мощная лапа автобульдозера. Никак не мог привыкнуть к его размерам, хотя и понимал, что фабрика, создающая космодром из песка и воздуха, не может быть со спичечный коробок.

«Напоминает скорей храм неземного культа, нежели почтенную фабрику для перемешивания песка», — подумал он, когда очутился в тени автобульдозера. Дошел до лестницы, забрался в кабину и вдруг увидел Дона.

— Ты выиграл, Джесс, — сказал Дои, — моя проклятая машина не хочет двигаться.

«Не повезло парню», — подумал Джесс, но это его не обрадовало.

— Что случилось? — спросил он.

— Попала вчера в яму, и ее засыпало.

— Да, действительно не повезло, — сказал Джесс, снял шлем и подошел к пульту управления.

— Джесс, ты не пустишь свою машину…

— Почему?

— Говорю, не пустишь.

«Зачем он, черт бы его побрал, все время смотрит в окно?» — подумал Джесс.

— Может быть, ты не дашь? — спросил он Дона.

— Не дам. Не моя вина, что меня засыпало. Сделал много, но сделал бы еще больше, столько, сколько требуется, чтобы улететь отсюда.

Джесс пожал плечами. «Однако ему приспичило», — подумал он. Включив запуск, он ждал, пока замигают красные контрольные лампочки. Дон отошел от окна. Встал перед ним в

двух шагах, расставил ноги, а руки засунул в карманы комбинезона.

Джесс медленно повернулся к нему.

— Отойди, — сказал он коротко.

— Хорошо, я пойду, но не одни. Уйдем вместе…

— Уходи, — повторил Джесс, а когда Дон не сдвинулся с места, подошел к нему и холодно сказал:

— Уходи. Я буду работать.

Дои молчал, исподлобья глядя на Джесса.

— Ты еще успеешь позагорать со своей Мэй, — ухмыльнулся Джесс, подталкивая Дона к выходу.

— Ты не сделаешь этого, Джесс! — прошептал Дои.

Но Джесс надел на него шлем, тщательно прикрутил вентили и осторожно выпихнул Дона наружу.

«На Земле разбил бы себе физиономию, а тут даже не ушибется», — подумал он. Дон опустился на песок и лежал не двигаясь…

Джесс повернулся и подошел к пульту. Контрольные лампочки светились, и где-то за доской бормотало напряжение. Не глядя, Джесс взялся за короткий черный рычаг и потянул его вниз до отказа. Автобульдозер задрожал и, подминая гусеницами песок, двинулся вперед, поднимая свою огромную стальную лапу.

«Это могучий, добрый, прирученный тиранозавр, — тепло подумал он о машине. — Сделает все, что ему прикажу, и так будет всегда, если только не сожжет себе предохранители».

Потом передвинул регулятор распада, и бульдозер, качаясь из стороны в сторону, ускорил свой ход по красным пескам красной пустыни.

Другая полоса была уже совсем близко, и там, где она кончалась, была дюна, из которой торчал автобульдозер Дона. «Здорово его засыпало, по самую кабину, только стальная лапа торчит как рука утонувшего в песке», — подумал Джесс.

Он надел шлем, вышел на песок и вытащил трос, точнее, только кусок троса, потому что больше бы не сдвинул с места. Это был стальной трос толщиной с руку и сплетенный из более тонких стальных тросов, а те из еще более тонких.

Потом вернулся в кабину; автобульдозер вытащил трос настолько, насколько нужно было, и положил его так, как было приказано. Джесс зацепил его за автобульдозер Дона, там, где был большой крюк для закрепления тросов. Потом вернулся опять в кабину и передвинул регулятор до конца, на всю мощность, на которую способен реактор. Медленно потащил, очень медленно, чтобы не оборвать трос. Автобульдозер Дона дернулся и выполз из дюны, которая тут же рассыпалась.

Джесс проехал около трех километров и увидел перед собой маленькую фигуру, бредущую по песку. Повернул и объехал ее. Фигурка махала руками, но Джесс демонстративно не обращал на нее внимания.

— Джесс!..

— Смойся с экрана, а то я отключу изображение.

— Хотел тебе сказать, что ты мировой парень, а я, кажется, свинья.

Джесс пожал плечами.

— Я… хотел тебя поблагодарить…

— За что?

— За то, что вытащил мой автобульдозер…

— Не за что благодарить. Я это сделал не ради тебя.

— Но твоя полоса…

— Моя полоса… Ну и что из этого?

— Мог бы ее продолжать…

— А потом залезть в ракету и умотать на Землю? Ты глупый щенок, терпеть не могу твоей физиономии и для тебя не завернул бы даже бульдозера.

— Но ради чего?..

Через три дня прилетел Рой. Как ему было приказано, выбрал длинную полосу и сделал круг для посадки. Включил микрофон и…

— Садись на той полосе, — сказал Дои.

— Делай как приказано, — услышал он голос Джесса.

— Только попробуй здесь сесть, гусеницами раздавлю твою ракету, — уверил его Дон.

Рой не понимал…

— Ты что, не можешь уразуметь, что человек никогда не бросит человека? — услышал он чей-то голос в наушниках.

Тогда Рой развернулся и полетел обратно на базу, а внизу осталась пустыня и две неровные полосы, сходящиеся буквой V там, где в будущем встанет Космический порт. Сейчас в том месте только осыпь и воронка, вырытая каким-нибудь метеоритом несколько веков назад.

Перевод с польского Л. Поспелова

1976, № 10
Владимир Щербаков
БОЛИД НАД ОЗЕРОМ

Рис. Р. Авотина

Девушка прошла первой, поздоровалась и поманила рукой спутника. Я пригласил их в кабинет, извинился за беспорядок (стол был завален книгами, журналами и рукописями больше обычного) и попробовал угадать, зачем они пожаловали. Студенты? Но своих студентов я помню… Быть может, с другого курса, факультета?

Рассеивая мои сомнения, девушка сказала:

— Мы с физического отделения. Пришли вот к вам.

— Быть может, по ошибке? — спросил я.

— Нет. Нам нужны именно вы. Мы читали вашу статью «Болид над озером»…

— Да когда же это было?.. Лет двадцать назад, не меньше!

— Статья опубликована в пятьдесят пятом, в журнале… — и девушка назвала номер журнала, в котором увидела свет моя заметка.

— Расскажите, — попросили они, — расскажите поподробнее о болиде!

Наверное, они занимаются парапсихологией, решил я, сейчас это даже модно, да вот незадача: сколько бы ни собирали фактов специалисты в этой интересной области, их всегда оказывается чуточку меньше, чем требуется для доказательства истины. Но два студента, которым я дал бы не больше сорока на двоих, два моих гостя, разумеется, имели право на то, чтобы найти наконец решающие доводы. Ведь и мне и моим друзьям было по восемнадцать, когда мы впервые соприкоснулись с настоящей тайной… Конечно, в заметке моей об этом сказано слишком уж мало, несколько туманных фраз, и мне пришлось кое-что припомнить. Чем старательней я припоминал весь эпизод, тем значительней он казался мне самому — бывает, что интерес,

проявленный другими, восстанавливает ценность случившегося.

…Мы прошли тогда километров триста лесными дорогами, мощенными стволами берез и осин. Удивительно пустынны были эти лесные пути, разбегавшиеся на запад, север и юг от Селигера, на сотни километров раскинулась их сеть. Когда-то по ним шли автомобили с потушенными фарами, и неурочный крик выпи, шумный взлет птиц выдавали это непрерывное движение. В зимние ночи, быть может, солдаты засыпали на заснеженных обочинах во время коротких привалов. А в пятьдесят пятом здесь стояла тишина, было безлюдно. Окопы на опушках березовых рощ, простреленные каски, деревья, скошенные, как трава, рассказывали молчаливо о минувших боях за холмы и реки, за озера, острова и косогоры, за околицы сожженных деревень. Здесь остановили немецкую военную машину.

От Октябрьской железной дороги мы пешком добрались до Селигера, обошли его с севера, через Полново, сели на катер и добрались до Осташкова. Но и Осташков не был последней точкой нашего маршрута. Еще один день мы провели на острове Кличен, и с его высокого берега открылось пространство страны озер, островов и рек — Валдай…

Где-то по пути, у безымянного озера с песчаными берегами, почти ключевой прохладной водой, со звоном трубок камыша и янтарными заводями в один из пятнадцати валдайских вечеров мы увидели яркий белый болид. Похож он был на ракету, но прочертил зеленое и ясное закатное небо стремительней — линия его пути наклонно вела к середине озера и была прямолинейна.

Через полчаса, поставив палатку, я пошел купаться, в лагере остался только Валя Корчуков. Остальные ушли кто куда: за дровами, за молоком в дальнюю деревню, по ягоды. Валентин расположился у крайней палатки, совсем рядом с берегом. Я уплыл за тростинки, потом вернулся. Берег медленно поворачивался, словно у меня кружилась голова. Я видел, как Валентин брился. Он проделывал это с помощью остро отточенного топора — предмета особой гордости прирожденного бродяги. Лезвие, мелькая у его лица, казалось то серым, то багровым, отражая и озеро, и одинокое светящееся облако. Я нырнул, раскрыл глаза, чтобы видеть подводные джунгли и мелких рыб, прятавшихся от меня (что меня забавляло: они всерьез принимали мои попытки поймать их или коснуться их плавников). Над водой пробежала широкая медленная тень. Там что-то изменилось. Я вынырнул. Передо мной раскинулся незнакомый берег. Незабываемое воспоминание: это было совсем другое место… как будто и лес, и пляж, и наши палатки, и старый столб, оставшийся от довоенной еще телеграфной линии,

недалеко от которого сидел Корчуков, вовсе исчезли, как театральная декорация. Впрочем, это меня сначала не испугало, но на всякий случай я решил выбраться на берег.

И вдруг я застыл. Мои ноги касались дна, и я остановился в десяти метрах от берега. На том месте, где был всего минуту назад Валентин, сидел на корточках совсем другой человек.

Но как рассказать о нем?.. Был он бородат и держал в поднятой правой руке палку. Я присмотрелся: копье! Наконечник копья смотрел почти вдоль линии берега и чуть в сторону леса — дикого, незнакомого, с гигантами деревьями, опутанными синими и черными змеями лиан. Я видел его профиль, его внимательные, усталые глаза, морщины на его лбу и шее, сильной и загорелой. На плечи его была накинута кожаная жилетка, изодранная в клочья, ступни ног его и руки кровоточили, царапины прочертили лицо, мужественное, с открытым взглядом, устремленным в недосягаемую для меня лесную даль… И вдруг вверху вскрикнула черная птица. Я испытал мгновенный страх. Неведомая тревога была разлита в этом сказочном краю. Почти невольно я погрузился в воду, к своим друзьям — рыбешкам, по-прежнему сновавшим возле.

Я остался в воде, насколько хватило дыхания, надо мной серебрилась рябь, искажая багровое облако. Это облако подсказало мне, что все вернулось на свои места. Я осторожно выдохнул, потом открыл глаза и взглянул на берег. Недалеко от столба, у палатки, брился Корчуков. Знакомый лес, знакомый холм справа, берег и спокойная заводь. В стороне стоял Растригин, один из наших, с охапкой валежника и к чему-то присматривался. Через минуту он двинулся вдоль берега к палаткам.

Я заплыл за тростники, подальше, на открытую воду, и лег на спину. Потом, чтобы убедиться в нереальности происшедшего, опять нырнул надолго и поплыл под водой к берегу. Здесь было глубоко, и в полумгле я не мог угадать дна. Мои руки коснулись наконец тростников, я всплыл и сквозь колеблющийся строй стеблей увидел берег и человека с копьем…

Теперь он привстал. Его плечо прижималось к дереву, одной рукой он обхватил ствол, другая же по-прежнему сжимала древко. Я подплыл ближе и постарался запомнить подробности. На его поясе висел большой костяной нож, прямой и широкий, как меч. Запястье правой руки, которой он держал копье с каменным наконечником, было охвачено грубым широким браслетом. Я видел, как он едва заметно глотнул воздух, не сводя глаз с какого-то предмета впереди себя, и его левая рука еще крепче сжала ствол дерева.

Я обнаружил и то, что приковало его внимание. Прямо на него бежало странное существо, похожее на увеличенную во много раз многоножку. Многоножка то выползала на берег, то скрывалась в чаще, тело ее извивалось, и сухой шорох сопровождал ее стремительные движения. Она, казалось, была заряжена электричеством, по черному панцирю тела пробегали желтые искры, камни и древесная ветошь отскакивали от ее ног, рассыпались перед ней, освобождая дорогу. Чем ближе она была, тем слышней был шорох и треск, и я вдруг увидел ее глаза — два черных отверстия, окаймленных зеленой фосфоресцирующей полосой. Они неотрывно следили за человеком, как бы прихотливо ни извивалось ее туловище среди корней деревьев, лиан и ветвей. Величиной она была, вероятно, с крокодила или немногим больше.

Метрах в ста от нас многоножка неожиданно остановилась, замерла, и в глазах ее зажегся красный огонь. Над ее головой поднялись три белых фонарика на общем отростке. Они протянулись вперед, отросток удлинился, белые огни как бы ощупывали дорогу, когда она снова двинулась.

Монотонный электрический треск заставил сжаться мое сердце. Я понял смысл происходящего. Многоножка охотилась, она почти настигла человека. Убежать от нее невозможно: весь ее облик свидетельствовал о простых, почти механических принципах организации, о чем-то таком, что роднило ее с машиной, страшной, неумолимой машиной, не знающей усталости и пощады.

Поединок был неизбежен, и человек знал это, он готовился к встрече, не помышляя о бесполезном бегстве. Светлый наконечник копья чуть наклонился…

Я обернулся: за мной расстилалось озеро. И все там, на озерной глади, и за ней, на другом берегу, было мне хорошо знакомо. А вверху догорало облако. Да и на моем берегу стало все по-прежнему…

Я снова увидел Валю Корчукова и поплыл к берегу. Он кончил бриться и держал топор в правой руке, а левой обхватил ствол сосны, к которому была привязана палатка. Что-то в его позе насторожило меня. Неизъяснимая тревога заставила меня плыть быстрее, подгоняла меня, я уже выходил из воды, когда возникло ощущение прихотливой и неожиданной связи событий в двух различных и далеких мирах. Где-то человек готовился метнуть копье в ринувшуюся на него гигантскую многоножку. Здесь происходило нечто похожее. В моем сознании наметилась ассоциация: я ждал подтверждения взаимообусловленности разноплановых эпизодов. Вот Корчуков поднял топор, отвел назад

руку и сильно метнул его. Я не знал, что должно было последовать за этим здесь, на знакомом мне берегу, зато твердо знал, что случилось там, за приоткрывшейся завесой неведомого. Там решался исход поединка.

Я даже не вскрикнул, когда увидел, что топор вонзился в старый, серый от дождей, подгнивший столб. Я выскочил на берег и бросился к Валентину. Наклонившись, он возился с рюкзаком. Схватив его за ворот куртки, подхватив под плечо, я отбросил его в сторону. Все решилось в мгновение ока. Я едва успел отскочить. Столб рухнул как раз на то место, где сидел Валентин секундой раньше…

— Вот и вся история, — сказал я своим гостям, — хотите — верьте, хотите — проверьте…

Девушка смутилась:

— Что вы, мы верим.

— А что было дальше? — спросил ее спутник.

— Ничего. Утром снялись и пошли. Других очевидцев не оказалось. Ну а я молчал до поры до времени. Только потом, когда вспомнили о пропавшем топоре…

— О том самом, которым Валентин брился? Разве он пропал?

— Мы не нашли его.

— Жаль, что вы не написали обо всем так же подробно, как сейчас рассказали, — заметила девушка мечтательно, — боялись, не поверят?

Что я мог ответить ей?

Почему я, ученый и журналист, не написал об этом подробно?.. Не знаю. Но, думается, прежде следовало бы написать о другом. О военных бесконечных дорогах. О выжженных бомбами торфяных болотах. О прозрачном, бледном на солнце пламени над соломенными кровлями. О следах отгремевших канонад и военных трудах минувшего.

Тогда, в пятьдесят пятом, прикоснувшись к прошлому, я мог живо представить себе недостроенные дома, взорванные минами, городские парки, вырубленные на дрова, пепел сожженных изб, густым налетом покрывавший заиндевелые ветви; старуху с непокрытой головой и детей, обвязанных старушечьими платками, отогревавших руки над головешками от их жилья.

Нам чудился запах войны — запах бензина и пожаров, машины смерти с черепами, свастиками, тузами на бортах, вражеские трубы на рассвете, предвещавшие атаку.

Именно это приковывало тогда мое внимание. Да, я видел человека с копьем, видел его внимательные глаза, следил за его дыханием, когда он ждал начала поединка. Но я знал и о мальчике, выкрашивавшем, выплавлявшем из неразорвавшихся

бомб взрывчатку, чтобы набрать восемь с половиной килограммов тола (именно столько нужно, чтобы пустить под откос эшелон). О том, как он искал эти бомбы в оккупированном городке и ночами мастерил в сарае самодельные взрыватели. Потом привязывал к ним длинные веревки, за которые нужно дергать, когда поезд будет проходить мимо. Как шел закладывать мины на насыпь, на рельсы. Как быстро и настойчиво разгребал ладонями щебень под полотном, пока по нему стреляли.

Старик с острова Хачин рассказал нам о связисте, который под огнем, перекатываясь с боку на бок кубарем, тянул провод по картофельному полю. Он упал, но продолжал ползти, на минуту задержался у канавы с водой, чтобы напиться. И остался лежать, сжимая рукой провод.

Нетрудно было представить техников, спавших под крыльями истребителей, готовых по тревоге работать в непроглядной темени. И солдата, готовившего связку гранат, скреплявшего их обрывком провода так, чтобы четыре рукоятки смотрели в одну сторону, а пятая — в обратную. Именно за нее нужно было держать всю связку, ожидая, пока танк пройдет над головой. Впрочем, это-то уж приходилось делать почти каждому бойцу.

…Что я думаю об этой истории? Разное… Тогда мне казалось, что это мираж, что болид над озером создал совсем особые условия наблюдения. И где-то в джунглях, наверное, действительно прятался человек с копьем, поджидая многоножку. Я не увлекался тогда биологией, и меня не смущал фантастический облик странного существа. Потом я понял: таких не бывает. Можно перелистать любую самую объемистую книгу с описаниями живых редкостей, но ни на одной из тысяч страниц не найти ничего подобного. В этом я позже много раз убеждался.

И что бы ни говорили и ни писали о «затерянных мирах», трудно было представить проявление жизни, столь отличающееся от известных форм.

Знакомый радиофизик подсказал интересную мысль. Болид создает ионизированный столб, своеобразный электронный шлейф. Этот-то многокилометровый шлейф может служить антенной и даже волноводом для очень длинных радиоволн. Альфа-ритм электрической активности человека с копьем, вероятно, близок к нашему. Получается, что столь низкочастотные колебания могли быть приняты метеорной антенной из космоса. Требовались, правда, дополнительные условия, трудновыполнимые. Во-первых, электромагнитные волны, воздействуя на наш мозг, должны создавать полную иллюзию присутствия. Во-вторых, где же все-таки это было: на другой планете? в иной звездной системе? И какова же тогда сила

излучаемых биосигналов?

Этот второй вариант казался, пожалуй, фантастическим, но я постепенно уверовал в него. И успокоился.

* * *

…Месяца через два они позвонили. Расспрашивали о Полновском плесе, о Заплавье, о дороге к Картунскому бору. Дорогу на озеро я не помнил, знал только, что от Сосниц до него недалеко. Кажется, во время студенческих каникул они собирались на Валдай. Места там хоженые, не заблудятся, подумал я. Потом они пропали, целый год не объявлялись и не звонили. Я уж было забыл о них.

И вот почти год спустя мы встретились. Они пришли ко мне, повзрослевшие хорошие ребята, в кармане — дипломы не то физиков, не то биофизиков. Теперь их трое — Гена, Ира (с ними я знаком) и Саша (еще один молодой физик). Разговор тот же. О болиде над озером. О давнишнем нашем походе на Валдай. Наслушавшись своих собственных рассказов, я понемногу начинаю сомневаться, спрашивать себя: было ли это на самом деле или, может, померещилось мне?

— Вы все-таки расскажите еще раз, как искали топор! — просит Геннадий, и я припоминаю (во второй уж раз!) кое-какие детали.

Мне не вполне понятна их настойчивость. Да, искали мы топор. Вместе с Корчуковым. Не нашли. И хоть утро вечера мудренее, но на рассвете тоже не оказалось его ни под упавшим столбом, ни поблизости от него.

— Вы-то, наверное, не искали как следует — Корчуков искал.

— Пожалуй, — соглашаюсь я, — только зачем вам все это?

— А мы ведь собрались тогда на ваше озеро… — говорит Геннадий. — Ира, я. Саша и еще трое ребят.

— Ну и что же, побывали?

— Побывали. Только позднее.

— Не жалеете? Интересно было?

— Интересно. Только биосигналы из космоса тут ни при чем оказались. Дело не в антенне и не в электронном шлейфе.

— Вам виднее. — я не скрываю легкой иронии.

Геннадий начинает неторопливо излагать их точку зрения. Говорит он о пространстве, сопряженном с нашим, обычным пространством. Время и там и здесь течет одинаково, это общая координата. Зато другие измерения — ширина, длина, высота, все три координаты — расходятся, расщепляются. Мы не видим будто

бы объекты из того, сопряженного пространства, хотя они рядом, даже как бы незримо пронизывают нас. Я перебиваю его:

— Это даже не теория. Гипотеза, не больше. О двух пронизывающих друг друга мирах я наслышан.

— У нас есть доказательства. Болид сместил измерения, сопряженное пространство стало ощутимым. Потом контакт опять пропал.

— Да, но о болиде рассказал вам я.

— Конечно. Но ваш человек с копьем мог появиться только из сопряженного пространства. И только там мог исчезнуть топор.

— А как же с принципом симметрии? Между сопряженными полями, между двумя нашими мирами может произойти лишь эквивалентный, равнозначный обмен энергией-массой.

— Мы думаем, такой обмен и состоялся, — спокойно возразил Геннадий, и я почувствовал, что в этом они единодушны.

— Но топор Корчукова исчез, — сказал я. — По-вашему — перешел туда, в сопряженное пространство. Если вы убедите меня, что в обмен мы приобрели что-нибудь другое, с равной массой, тогда я сдамся.

— Мы были у озера, — сказала Ира неопределенно, щелкнула запором портфеля и подала мне продолговатый светлый камень с отшлифованными гранями и тонким острием.

Я взял его, провел ладонью по четырем неровным ребрам, молча потрогал острие. Слова были бы лишними. Ведь я без труда узнал наконечник того самого копья.

1976, № 11
Сергей Смирнов
ЦВЕТОК В ДОРОЖНОЙ СУМКЕ

Рис. Р. Авотина

После привычных блекло-серых, бесцветных и изгоняющих смертельную тоску холмов Безликой кипящая на полуденной жаре земная зелень вызывала резь в глазах. Я стоял неподвижно на краю шоссе и щурился с такой силой, что даже стала болеть голова.

Вдруг какой-то импульс прострелил мои мышцы. Я сорвался с места, зашвырнул далеко свою дорожную сумку и тут же ринулся сам вслед за ней в гущу травы. Но, сделав несколько яростных рывков, я выдохся. Ноги опутала упругая паутина из стебельков и листиков; подавшись телом вперед так, я растянулся во весь рост и, должно быть, отшиб бы себе грудь и разбил лицо, если бы не тысячи маленьких зеленых пружинок, мягко сжавшихся подо мною.

И от этого чувствительного падения мне вдруг стало хорошо-хорошо.

Про своего нового знакомого, Алексея, я совсем забыл, а когда вспомнил и, сев, высунулся из травяных зарослей, оказалось, что он все еще стоит на шоссе, переминаясь с ноги на ногу.

— Чего ты ждешь? — спросил я решительно, удивляясь, как

может человек, пробыв год в космосе, не прийти в ребячий восторг от земной красоты.

Алексей только посмотрел на меня так, как смотрит не умеющий плавать на реку, через которую ему придется перебираться вброд.

— Ты там до конца отпуска простоишь, — почувствовав какой-то подвох, сказал я уже как-то неуверенно.

Алексей наконец тронулся с места. Он повесил на плечо свою сумку, сошел с дороги и двинулся в мою сторону, переступая таким образом, будто боялся наступить на спрятавшуюся в траве змею. Я смотрел на него во все глаза. Судя по всему, Алексей чувствовал себя очень неловко: лицо его покрылось красными пятнами. Он подошел ко мне и осторожно положил сумку на землю.

— Должно быть, я немного свихнулся, — с огорчением сказал он, словно оправдываясь за свои странные действия.

Я пожал плечами.

— Это бывает… — Я тоже вдруг почувствовал неловкость, словно перешедшую от него ко мне.

— Хм, — Алексей слабо улыбнулся. — Но у меня уж слишком оригинальный случай…

— Лучше поговорим о чем-нибудь другом, — предложил я, давая понять Алексею, что не люблю обсуждать чужие недуги.

…Мы познакомились два дня назад на пассажирском космолете: у нас была каюта на двоих, и хотя — не знаю почему — мы очень мало разговаривали между собой, на следующее после знакомства утро мне уже казалось, что мы давние и очень хорошие друзья. Нас сближало непреодолимое желание вновь послушать на ветру и побродить по вечернему городу, с огнями которого не может сравниться блеск самых ярких звезд. Нужны ли слова? И тем более не рассказывали мы друг другу о своей работе. Но теперь я вдруг почувствовал, что Алексей не успокоится, пока не расскажет о своих злоключениях. Я понял, что ему долгое время пришлось пробыть в одиночестве. Такие люди в космосе очень молчаливы, но стоит им вернуться на Землю, и они несколько дней ведут себя так, будто им больно молчать. Я счел своим долгом выслушать человека, который, может быть, ждал этой возможности целый год.

Я чуть приподнял брови и вопросительно глянул на Алексея. Он снова слабо улыбнулся: видно, понял ход моих мыслей и, на миг задумавшись, неторопливо спросил:

— Два месяца назад в третьем секторе Урана беспилотный грузовик врезался в звездолет, на котором был только один помощник штурмана. Ты, может быть, слышал?

— Конечно, — ответил я. — Этот звездолет потом больше недели искали.

— Вот-вот. Не мудрено. Его на куски разнесло. В одном из этих кусков я и загорал полторы недели. — Алексей немного помолчал. — А столкнулись мы эффектно, ничего не скажешь. Космолет, на котором я летел, перегонялся с одной базы на другую, с которой на первую летел этот злополучный грузовик, — так дело было, — и пути эти настолько совпали, словно корабли летели навстречу друг другу по одной ниточке. В общем, совпадение сказочное, остается только руками развести… За полчаса до столкновения я пошел в оранжерею проверить систему автополива.

Вдруг страшный удар, будто кто-то огромной кувалдой трахнул по обшивке, — и тишина. Но мне показалось, что корабль бесшумно прокатился по гигантской каменной лестнице, а потом началась страшная карусель. Меня дернуло в сторону, магнитные ботинки оторвались от пола, перед глазами все завертелось. Вначале я даже не успел испугаться, а когда меня провезло по цветам и потом стало безжалостно шлепать о стены, мне уже было не до страха. Ко мне пришло спокойствие и равнодушие обреченного, и еще минут пять я заботился только о том, чтобы не врезаться в стену головой. Я даже не пытался прилипнуть к опоре ботинками. Тогда когда, уже случайно, я коснулся ногами пола, тогда и кончилась эта карусель. Я был весь вымазан в мокрой земле и размятой зелени, которая отдавала резким и неприятным запахом. Я сразу рванулся к выходу, но люк оказался закрытым наглухо, а над ним горел транспарант: «Общая разгерметизация». Выйти из оранжереи было нельзя; что произошло, я не знал. Я думал, что, должно быть, корабль с чем-то столкнулся и получил большую пробоину где-то в районе грузовых отсеков. На самом деле это была уже не пробоина, а полный разгром. Грузовик имел на борту десять тысяч тонн полезного груза и прорвал корпус корабля, как бумажный кулек. Рубку управления разворотило в клочья, часть отсеков оторвало вовсе, только оранжерея целой и осталась. Вот, что называется, в рубашке родился.

Я побродил несколько минут перед люком и решил, что дела мои плохи. Даже зябко стало. Оставалось только ждать. На вегетарианской пище с уцелевшего огорода я смог бы протянуть около месяца, питья было сколько угодно: запасной резервуар полива и резервуар с питьевой водой были полны. Но вот дышать мне можно было от силы дней семь-восемь, а потом хоть открывай люк и дыши вакуумом.

Вдруг меня словно стукнуло. Я прозрел. Вокруг меня были

сотни всяких растений: тюльпаны, бегонии, кактусы, помидоры, лимонные деревца, березки. Все они вырабатывали кислород. Тихо и незаметно. Я вспомнил картину из старого школьного учебника по ботанике: две мыши, накрытые стеклянными колпаками; одна уже мертва, а другая живет как ни в чем не бывало: вместе с ней под колпаком стоит горшок с цветком. Мое положение было аналогичным; я только не знал, смогут ли растения оранжереи обеспечить меня кислородом на достаточно долгий срок. Но все равно надежда появилась, а это главное.

На Земле дышится вольно — мы и не осознаем ценности всех этих травинок и былинок, поскольку банка, в которой мы живем вместе с ними, такая большая; а там, в космосе, когда каждый кубический сантиметр воздуха на вес золота, то каждая травинка — может быть, сорняк в цветочном горшке — превращается в волшебное дерево.

Я посмотрел вокруг себя другими глазами. Цветы перестали быть для меня какими-то неодушевленными предметами. Это была толпа добрых и отзывчивых друзей, которые тихо и искренне заботились обо мне, которые, в сущности, были еще более беспомощны, чем я, в чуждой для них обстановке.

Я проникся к ним глубочайшим уважением, и это было не просто уважение — я благоговел перед ними. Я наделил каждый цветок душою, выдумал, смотря по внешнему виду, характер и даже, самому теперь смешно, биографию, Так я перестал чувствовать свое одиночество: со мной было много друзей. Друзей и знакомых. Да-да, некоторые из цветов стали для меня хорошими друзьями, некоторые — просто знакомыми. Почему? Ну, например, когда становилось как-то тоскливо на душе и мне начинало казаться, что помощь ждать бессмысленно, что на Земле меня уже похоронили, я подходил к желтым тюльпанам. Их цветы — как насмешка над всеми трудностями, над всеми нелепостями судьбы. Чинное спокойствие агав подбадривало меня, а маленькие хрупкие фиалки смотрели на меня широко раскрытыми синими глазками, удивлялись и сокрушались: «Мы такие маленькие — и ничего не боимся, а этот, такой большой и сильный, дрожит от страха». Смешно? Возможно. С точки зрения человека, живущего на Земле и гуляющего со своим песиком где-нибудь в городском парке.

Я тоже старался что-то сделать для них. Собрал все цветы, поврежденные в результате моих падений, занялся, что называется, их лечением: пересаживал, подрезал и был ужасно расстроен, когда несколько цветов все же не удалось спасти. Но это уже не по моей вине: эти цветы росли в ящике, который перед отлетом с базы плохо закрепили на полу оранжереи, и во время

аварии он кувыркался в воздухе вместе со мной.

Освещение я не выключал вовсе. Вообще, мне здорово повезло и в том, что не вышла из строя энергосистема корабля, иначе я бы превратился в ледышку. Уцелели и холодильные резервуары с твердой углекислотой для «подкормки» растений.

В общем, жил — не тужил, только вот обеды всегда доставляли мне волнения, ведь питался я тоже только растительностью. Такой психологический настрой: а вдруг вот этот листик, который я сейчас съем, не выдаст ровно столько кислорода, сколько нужно, чтобы прожить всего одну минуту до спасения. Я уж старался питаться лишь морковкой, редиской, огурцами; капусту вообще не ел, хотя ее было больше всего, ведь у нее такие огромные листья…

В последние дни стало все-таки не хватать воды для цветов, и я подключил к системе автополива резервуар с питьевой водой, так что до самого конца мне пришлось страдать от жажды, чего раньше я никак не предполагал. За два дня до спасения я открыл последний аварийный баллон с кислородом и после этого окончательно положился на свои цветы: от них теперь уже полностью зависела моя судьба.

Спасение пришло неожиданно. Я спал, когда подошел спасательный космолет. Целый час обследовали развороченные отсеки и наконец обнаружили закрытую и неповрежденную оранжерею. С космолета выдвинули тамбур, приварили его к стене оранжереи с внешней стороны и вырезали в борту дыру. Спасатели вошли внутрь, увидели меня лежащим на полу, решили, что дело плохо, и стали меня осторожно переворачивать на спину. Я вскочил, спросонок не разобрал, что к чему, чуть отбиваться не стал, потом разглядел смеющиеся лица… Когда стал влезать в тамбур, опомнился, рванулся назад, выкопал первую попавшуюся фиалку, мою фиалку, и вернулся обратно. Спасатели только плечами пожимали.

Я видел, как отделяли выдвижной тамбур от оранжереи. На экране мелькнуло светлое пятно вырезанной в борту дыры: там, внутри, продолжали еще гореть лампы дневного света. Это как прощальный жест друга, с которым я расставался навсегда. В тот момент в оранжерее уже царили пустота и адский холод, которые, наверное, быстро расправились с зелеными друзьями. У меня сжалось сердце, и я ушел из рубки управления. На Ганимеде меня осмотрели врачи, покачали головами и отправили на Землю.

Алексей замолчал.

— Да, — вдруг спохватился он, — та фиалка, которую я успел забрать с собой… Вот она.

Он расстегнул «молнию» на своей дорожной сумке и

осторожно достал цветочный горшочек, накрытый пластиковым колпаком.

…Когда мы возвращались на шоссе, я заметил, что иду след в след за Алексеем. Я вроде бы усмехнулся про себя, но тем не менее продолжал идти так же.

Машина пришла за нами точно в указанное время. Закрывая за собой дверцу, я взглянул на луг и на миг замер, ужаснувшись; откуда это там такой огромный участок поваленной и жестоко смятой травы? Вот ведь, весь луг испортили! Тут до меня дошло: это же я сам… Я как-то опасливо оглянулся — как убийца, подумалось вдруг, — захлопнул дверцу и почувствовал, что мне стыдно до корней волос. Не знаю, перед кем больше: перед Алексеем или… перед лугом. Кажется, я что-то начинал понимать. Земля ведь тоже космический корабль, хотя и очень большой.

1976, № 12
Георгий Вачнадзе
ЗВЕЗДНЫЙ ПАРУС

(Рассказ из будущего)

Перед заходом солнца граница света и тьмы все время поднимается вверх, как будто на дне моря разбили гигантскую склянку с чернилами. Она зыбка, эта граница, но всякая морская живность чувствует ее, следит за ней и тотчас устремляется вверх, словно пытаясь удержать последние солнечные лучи. Вряд ли это заметно на глаз, но трал, который мы иногда забрасываем, рассказывает об этой бесчисленной армии обитателей глубин, всплывающих навстречу лунному свету.

Это рыбы и креветки, медузы и мельчайшие рачки. И наш «Одиссей» оставляет им море, биолог Нина принимает последний улов, самый тяжелый, самый удачный, и уже до раннего утра мы

не вмешиваемся в морские дела. У меня, водителя глубоководного аппарата, совсем другие заботы, но как интересно слушать рассказы о жизни океана, где действуют своеобычные законы, управляющие колыбелью жизни тысячелетиями! Ничто пока как будто не изменилось там, в километровых толщах.

И все же само разнообразие морского населения свидетельствует об обратном: ведь только смена поколений, многих поколении, порождает мутации, изменчивость видов. А на это уходят иногда миллионы лет. Впрочем, мне не следовало бы пересказывать то, что говорит Нина. При всем желании я этого сделать не смогу: у нее определенно талант. Если вы когда-нибудь, дорогой читатель, побываете на «Одиссее», то убедитесь, что я не преувеличиваю.

Наверное, еще целое лето мы будем работать в Черном море, заходить в Батуми, Сухуми и другие порты. У нас здесь очень важное дело. «Одиссей» должен найти… но что именно найти, никто из нас толком не знает. В этом ничего странного нет: все падающие звезды похожи друг на друга.

У метеоритов очень большие скорости, и они испаряются в воздухе, а за ними тянется след — колонна ионизированного газа. Она тоже светится, «ложится в дрейф» и разрушается. Вот и все, что происходит. Попробуйте распознать форму или хотя бы размер сгоревшей звезды!

И все же, говорят, в июне произошло все немного иначе. Как будто бы не было столба раскаленных газов, а метеор летел медленно, опускаясь в море. И что удивительно, радиояркость его менялась. Мерцания были случайными и к тому же невидимыми. Стояло ясное тихое утро, и увидеть его было просто невозможно. Даже фотопленка сохранила лишь несколько слабых пятен: впрочем, снимки явно не удались, ведь никто не уверен в появлении небесного гостя именно в то время, когда это случается, и в том участке неба, куда нацелена оптика. Его «поймали» аэродромные радиолокаторы. Электрические импульсы и помогли зарегистрировать прерывистый путь его в утренней лазури.

Вот это-то и кажется немного странным. Ионизированного следа не было, об этом тоже сказали радиоприборы, но какой же величины тогда должна быть поверхность, чтобы за сотни километров его обнаружил локатор? Расчетам, конечно, верить трудно: многое зависит от свойств отражающей поверхности. Но данные настораживали. А главное состоит вот в чем: если раскаленного хвоста не было, значит, он не сгорел, остался цел. Так и канул в воду.

Я верю, что мы найдем его рано или поздно. Наверное, я

немного мечтатель (и Инна тоже так считает).

Во время многочисленных погружений я привык к зеленоватому миру, к колеблющемуся светлому покрывалу с пятном солнечного диска и пляшущими серебристыми бликами — так выглядит поверхность моря снизу. Крупные волны ударяют сверху по этому покрывалу, загоняют в воду пузыри воздуха, и те рассыпаются мелкими градинами, которые, вместо того чтобы падать вниз, устремляются вверх (прав Архимед!). Скопления медуз в Черном море напоминают порой тучи или облака — тоже нечеткие, с размытыми контурами, как бы растворенными в безбрежном пространстве вод. В спокойной воде медузы плавают уверенно и довольно быстро. Их зонтики сжимаются, выбрасывая воду, уже профильтрованную, очищенную от мути и планктона.

На глубине 170 метров всякая живность исчезает: начинается мертвая зона. Ни одна рыба не решится заглянуть сюда, в отравленное сероводородом вместилище многих миллионов кубометров бесплодной, хотя и чистой воды Повсюду плавают тонкие нитевидные хлопья «морского снега» — я уже знаю, что это остатки планктона. По словам Нины, тайна образования «снега» раскрыта недавно, а ведь так, кажется, просто… Лет двадцать назад, в середине 60-х годов, ученые пропустили пузырьки воздуха сквозь чистейшую морскую воду. И оказалось, что растворенная в воде органика прилипала к пузырькам. Воздух как бы ткал из раствора тончайшее полотно. А затем пузырьки лопались, и в воде оставались нежные хлопья.

Я бы не рассказывал об этом вовсе, если бы, по словам Нины, вся жизнь на планете, а может быть, и в иных мирах не была обязана именно этим хлопьям. Миф об Афродите, возникшей из пены морской, не столь уж фантастичен, если разобраться получше. У самого берега в ветреную погоду собирается морская пена со стокилометровых просторов волнуемой ветром воды. И здесь, на берегу, как в фокусе, соединяется все, что случайно родилось или возникло в загадочных пластах подводного мира. Береговая линия, да и вся поверхность океана — это лаборатория, равной которой нет пока у человека… Вот почему я всерьез задумываюсь о жизни, которая, несомненно, рассеяна во вселенной. Есть, есть где-то океаны, созидающие живое! И на планетах-гигантах и на других небесных телах природа, единая в сущности, творит сложные молекулы, клеточки, организмы.

* * *

Не случайно рассказываю я о Черном море: ведь успех наших

поисков во многом определяется характеристиками водной толщи, ее прозрачностью, течениями, погодой, характером дна, рельефом.

Небольшая наша экспедиция — комплексная. У нас много задач. Но руководитель ее (буду звать его без отчества — Николаем), как мне кажется, увлечен «неопознанным объектом». Я много раз замечал свет в его каюте после полуночи.

— Что ты думаешь о метеорите? — спросил он однажды меня, и этот вопрос его, на который я ничего определенного ответить не смог, заставил меня впервые, быть может, задуматься о происшедшем. В самом деле, что это было? Если бы метеор, пусть даже самый необычный, Николай бы не спрашивал. Конечно, он не ответ хотел получить, он как бы показывал тем самым, что над этим стоит голову поломать…

— А как вы думаете, что это было? — спросил я его позже, недели через две.

— Вот смотри, — он раскрыл карту и провел карандашом легкую линию — это был путь «Одиссея». В конце линии поставил кружок: — Сейчас мы здесь. Именно в этом районе упал метеорит.

— Но это не метеорит, — сказал я.

— Конечно, — вдруг сразу согласился он, — иначе искать его было бы бессмысленно. Дно илистое, да и глубина…

— Дно как жидкий цемент, — подтвердил я, — даже с посадкой аппарата иногда трудновато, того и гляди увязнешь.

— Я думаю иногда, что это был парус, — сказал Николай, глядя мне прямо в глаза.

Я смутился: что это — шутка? Или слова его следовало понимать в переносном смысле? Я молчал, пытаясь разрешить загадку.

— Парус, понимаешь? — повторил Николай. — Ведь Земля — это берег звездного океана, его остров. Точнее, один из островов. Звезды, планеты, галактики — это пространство, необозримое, огромное… Даже закрыв глаза, не представишь. Даже звезда-гигант — точка, не больше в этом безбрежном океане. А планета Земля?.. Пылинка. Но тоже остров.

Мне постепенно передавалось это настроение, и я слушал Николая очень и очень внимательно. Да, беспредельно межзвездное пространство, где световые лучи путешествуют годы, десятилетия. Это целый океан… Парус? Но ведь свет оказывает давление, как ветер. Ветер далеких сияющих солнц сможет наполнить паруса космических яхт. Да, я соглашался с Николаем, было бы странно когда-нибудь не воспользоваться неослабным течением могучей стихни. Мириады фотонов не иссякают, они

верно и неуклонно пронесут корабль мимо звездных островов в инопланетные дали. И как бы ни были слабы лучи, они действуют постоянно. А это главное.

Но, может быть, мы ошибались? Возможно, парус пригоден лишь вблизи планетных систем, где раскаленные недра исторгают могучее дыхание звездной стихни. Ведь именно эффектом парусности объясняются и кометные явления. Но если и так, то разве у тех, кто овладел в совершенстве этим секретом, секретом скольжения по соломинам лучей, нет средств вывести яхты поближе к солнцам, чтобы потом пуститься в беспримерное плавание? Быть может, для них это спорт…

— Это моя давняя мечта, — сказал Николай. — Я и сам думал о солнечной яхте. Но тут нужен особый материал, особая конструкция… Если бы когда-нибудь найти эту простоту, эти удивительные пропорции, которые позволили бы выйти поближе к кометам!.. И вдруг — вспышка, и точно солнечный зайчик скользнул в море. Поверхность пульсировала, отражая радиоволны, это доказано. Так спускается в воду сорванный с дерева лист… или парус. Да, я сам попросил в тот же день дополнить нашу программу исследований поисками неопознанного объекта. Я верил…

Я вдруг понял, нет, не по тому, ЧТО говорил Николай, а по тому, КАК он говорил, что он точно ищет поддержки у меня. Я-то знаю, как трудно верить в одиночку. У мечты слишком большие крылья, и это может испугать.

— Да, пожалуй, это парус, — сказал я как можно естественней. — Яхта могла упасть на Землю. Так к скалам прибивает земные корабли. Она пролетала мимо, и что-то случилось. Она упала. Так ведь может быть?

— Гравитация. Только одна сила — гравитация — может поспорить с лучами света. Она и сбросила парусник вниз. Впрочем, это нам так кажется: бросила вниз. Но они могли перейти и на вынужденный маршрут, потом покинуть свое судно. На какой-нибудь нейтринной ракете. И тогда лишенную управления яхту прибило к Земле.

— Кто знает, сколько лет она путешествовала среди звезд…

Мне кажется, мы говорим уже так, как следовало бы говорить, найдя ее. Но ведь мы пока не нашли…

* * *

О мечте я поведал Нине. Уж она-то, наверное, смогла бы понять! Но нет, этого, увы, не произошло. Вероятно, она была

слишком уж увлечена сбором коллекции зоопланктона.

Во время очередного погружения мне хотелось захватить как можно больший район дна. Я вел аппарат на глубине двести метров. Вокруг черно-синяя вода. Она прозрачна, лишь нити «морского снега» медленно падают на дно: в ином месте они служили бы пищей водным организмам, в Черном море пропадают даром.

— «Дельфин»! Как слышно? — привычные позывные. Связь с «Одиссеем» поддерживаем каждые пять минут.

«Одиссей» — наша плавучая база, большущий корабль, получивший имя в честь исследовательского судна с таким же названием, плававшего лет десять назад. А тот первый исследовательский корабль назван в честь Одиссея — великого мореплавателя древности, маршруты которого все точнее ложатся на современные карты… Фантастика!

Чем ниже опускается наш «Дельфин», тем становится светлее: это свет прожекторов отражается от серого дна. Оно пустынно. Ни одного живого существа! Вот нехитрая разгадка: Нина недолюбливает наши рейды, не участвует в них потому, что ей попросту нечего делать здесь, вблизи черноморского мертвого дна!

Серая пустыня, и над ней прозрачная темная вода со «снегом». «Дельфин» идет в десяти метрах от дна. Потом я начинаю сомневаться в правильности выбора именно этой цифры. Нет, нужно идти выше! Почему?.. Да потому, что парус, должно быть, огромен. Выше лучше обзор.

Я поднимаю аппарат еще метров на десять. Дно видно отчетливо в слепящем свете прожекторов, даже камин, торчащие сквозь слой ила. «Но почему мы должны найти именно парус? — вдруг задаю я себе вопрос. — Да, мы говорили с Николаем о нем. Но это только предположение, всего-навсего гипотеза. Да и можно ли верить в такое, право?.. И потом, разве Николай, руководитель экспедиции, сказал мне, что нужно искать именно парус, только парус, и ничего больше? Нет, не говорил он мне этого».

Я опускаю аппарат на прежнюю глубину и даже еще чуть ниже: будем ходить вдоль и поперек, обойдем весь район. И пусть кое-кто считает, что мы занимаемся пустяками.

«Дельфин» заходит в долину. Слева скалы, справа холмы. Скорость — полтора узла. Чтобы фотоаппараты успели произвести съемку, ничего не пропустив. Кое-где вижу крупных мертвых рыб. Они лежат на дне, наверное, уже давно. Здесь нет бактерий, вызывающих гниение. И рыбина на дне Черного моря может пролежать очень долго. При желании можно собрать

коллекцию их для какого-нибудь биологического музея.

— «Дельфин», как слышно?

Позади десяток километров. Делаю разворот, иду к базе. На дальнем холме… Что это такое? Сдерживая нетерпение, веду аппарат туда… Нет, просто камень причудливой формы. А ведь где-то здесь, несомненно, покоится один из кораблей греческого капитана Одиссея! Когда-то плавали за золотым руном. И что такое золотое руно, какое оно, никто толком не знал. И сейчас, сегодня, завтра, всегда люди будут искать то звездный парус, то неуловимую ядерную частицу… О них тоже немного, в общем, известно.

…И все-таки какой он, звездный парус? Я попытался представить его. Наверное, он очень большой: световые лучи оказывают едва заметное давление, и, чтобы сила была достаточной, нужна большая площадь. Еще что? Не исключено, что он очень легок, так легок, что никакие привычные нам эталоны эфемерности не подойдут для его характеристики. А вывод?.. А вывод из моих довольно простых рассуждений мог быть неожиданным. Мы искали скорее всего не там, где следовало!

Я с нетерпением дожидался конца смены.

И вот «Дельфин» всплыл. Нам кинули швартовые концы. Мягкий удар о пневматический кранец. Стальная лапа крана поднимает наш аппарат и водружает его на кильблоки в просторный ангар. Мы выбираемся на палубу через люк. Я бегу к Николаю.

— Что случилось? — встревоженно спрашивает он.

— Да уж случилось! — невпопад выпаливаю я и начинаю сбивчивый рассказ о предполагаемой конструкции паруса.

— Ну и что из этого следует? — спрашивает он. И сам же отвечает: — Да то, что искать его мы должны, пожалуй, на поверхности.

— Он должен плавать, — говорю я горячо. — Должен!

Ну и что же, отменять подводные дежурства?.. В конце концов мы решили сократить их, к удовольствию Нины. Вот когда мы с иен стали настоящими друзьями.

Прошла неделя. Мы нанесли на карте направления течений. Данные о ветре были довольно точные, и мы надеялись теперь на успех. Мы повернули «Одиссей», обогнали течение, зашли на добрую сотню километров вперед, чтобы не пропустить предполагаемую находку. «Одиссей» стал совершать рейсы поперек течения, словно дожидаясь добычи. Нечего и говорить, что мы были далеко не уверены в успехе. Если говорить честно, у нас был один шанс из тысячи. В том случае, конечно, если «яхта»

вообще существовала, не была нашей выдумкой.

…В одни из дней, когда мы почти потеряли надежду, наш трал для биопланктона зацепился за что-то. Нина позвала меня:

— Георгий, посмотри-ка!

Я прошел к лебедке. Из воды метрах в тридцати от кормы выступала какая-то полупрозрачная штуковина, точно огромный плавник рыбы. Мы подтянули ее поближе. Я стал всматриваться: она была цвета морской волны и оттого сначала показалась прозрачной. Ее нижний край глубоко уходил в воду. Я боялся поверить. Чтобы потом не разочароваться.

Заработала лебедка. Я не торопил событий. Кто-то положил руку на мое плечо. Обернулся: Николай. Я молча кивнул.

Он был не так велик: сотня квадратных метров, не более. Странной была его форма: он был похож на витую раковину. Поверхность его сияла в лучах утреннего солнца. И там, где была вершина раковины, к нему прицепился прозрачный пузырь. Совсем небольшой, около метра в диаметре. Он был пуст. Ничего особенного там, внутри, не обнаружилось. Когда мы подняли «яхту» на палубу, когда я окинул взглядом ее простые и вместе с тем какие-то необычные обводы, когда сумел угадать назначение некоторых деталей: маленького, едва заметного сиденья внутри пузыря-кабины, крохотной рукоятки, какой-то педальки, — только тогда радость открытия начала наполнять все мое существо.

От прикосновения моей ладони по парусу пробежали синие искры, он звонко гудел, и мы все долго-долго слушали эту песню, принесенную им издалека. Из звездных далей.

1977, № 1
Геннадий Максимович
ФРАЗА ИЗ ДНЕВНИКА

Научно-фантастический рассказ

Инспектор Пьер Тексье ехал в вычислительный центр института информации. Несколько минут назад дежурный вычислительного центра обнаружил в одном из машинных залов тело мужчины. Дежурный знал в лицо всех работников института, но этот человек был ему неизвестен. Когда инспектор прибыл на место, он застал там сержанта полиции из ближайшего участка. Это был пожилой человек, уже давно начавший седеть и полнеть, которому явно в этот ночной час больше хотелось спать, чем торчать здесь. Увидев, что Тексье молод, он отозвал его в сторону и почему-то несколько испуганно прошептал:

— Вы знаете… Быть может, вам лучше все-таки позвонить своему начальству?

— Это почему? — спросил Пьер, стараясь придать раздраженному голосу суровость.

— Да понимаете ли… я проверил документы убитого. Так вот, это Франсуа Люзьен — известный ученый, лауреат нескольких международных премий, участник многочисленных международных комиссий и почетный член многих академий. Может быть, вам все же позвонить начальству?

— Я сделаю все, что сочту нужным… — Голос Тексье стал более жестким.

— Ну как хотите, — чуть обиженно сказал старый полицейский. — Я счел своим долгом предупредить вас. Тогда пойдемте. Он здесь, рядом.

Они вошли в большой зал, заполненный компьютерами. Тексье увидел распростертого на полу человека без пиджака и с полуразвязанным галстуком. Голова и руки его лежали на открытой крышке компьютера. Казалось, что это мастер, взявшийся чинить электронно-вычислительную машину и внезапно уснувший.

Пьер огляделся. Неподалеку от компьютера висел на стуле пиджак.

— Что, пиджак так и висел здесь? — спросил он старого полицейского и начал набивать трубку.

— Нет, он валялся рядом с ним. Я пометил на полу это место и поднял его, когда искал документы. — И, увидев недовольство в глазах инспектора, добавил: — Он валялся, как будто Люзьен метался, прежде чем упасть. Видите, у него и галстук развязан только наполовину, и ворот рубашки расстегнут на две пуговицы.

Они отодвинули тело от машины и положили на спину. Тексье осмотрел его. Видимых следов насилия на теле Люзьена не было. Одно только удивило — лицо мертвеца. Это было лицо красивого пожилого человека, на котором, казалось, застыло выражение счастья и умиротворенности. Такого Тексье раньше видеть не приходилось. Во всех случаях, с которыми он сталкивался, смерть заставала людей, когда их лица были искажены гримасой ужаса или ярости. Но счастья… Нет, такого не бывало.

— Где находится дежурный, который его обнаружил? — спросил Пьер.

— Он ждет вас в соседней комнате. Кроме того, не дожидаясь вас, я вызвал сюда директора вычислительного центра.

— Это вы сделали правильно. Я пойду поговорю с дежурным, но перед этим позвоню и вызову экспертов. А вы встретите их.

…Разговор с дежурным ничего не добавил к тому, что Пьер уже знал. В это время, то есть ночью, людей в вычислительном центре почти не бывает. Если работы много, то на ночь остаются несколько операторов и программистов. Но это бывает нечасто…

Машины же почти всегда включены, так как обмен информацией, ее сбор и обработка ведутся круглосуточно.

По мнению дежурного, ночью в вычислительный центр постороннему человеку проникнуть практически невозможно. Система сигнализации отлажена хорошо, проверяется регулярно, и при ее повреждении тревога раздается сразу же. Охранники знают всех сотрудников в лицо, да и документы требуют у каждого.

Инспектор раздумывал над тем, какой еще вопрос задать дежурному, когда появился полицейский и доложил, что пришел директор вычислительного центра. В комнату вошел грузный человек лет пятидесяти. Поздоровавшись и представившись, он тут же тяжело плюхнулся в глубокое, изрядно потертое кресло напротив. Первое, что бросилось в глаза инспектору: директор постоянно вытирал потеющий лоб и довольно большую лысину. Делая вид, что что-то записывает, Пьер наблюдал за ним, пытаясь понять, всегда ли он так часто потеет или же это чем-то вызвано, например, смертью Франсуа Люзьена.

— Нам только мертвецов не хватало, — усталым голосом прервал директор явно затянувшееся молчание.

— А вы знали его? — спросил Пьер, пытаясь раскурить потухшую трубку.

— Я еще не знаю, кто это. Сержант не показал мне труп, даже не разрешил подойти к нему. Но, в общем, это и хорошо. Я страшно боюсь покойников. Когда год назад умерла моя жена, я даже квартиру сменил. Мне все казалось, что она может прийти ко мне. А в новой квартире вроде спокойнее. Так разрешите узнать, кто же там?

— Франсуа Люзьен…

— Кто?.. Франсуа?.. Этого быть не может?!. Он просто не мог этого сделать?!.

Директор встрепенулся, и Тексье не понял, что его больше смутило: что Франсуа Люзьен попал в вычислительный центр или что он лежит здесь мертвый. А может, он просто был уверен, что Люзьен не мог сделать чего-то этого.

— Вы были знакомы с ним? — Пьер все-таки раскурил трубку и теперь опять взялся за блокнот.

— Да, в общем-то, был знаком. — Директор все еще не мог вытереть.

Со лба постоянно выступающий пот. — А можно ли мне все-таки взглянуть на него?

— А вы что, не верите тому, что я сказал, или уже перестали бояться покойников? — Пьер был явно удивлен просьбой директора.

— Знаете ли, не каждый день у меня в вычислительном центре появляются знакомые, да еще в таком виде…

— Да нет, я не против. Можете посмотреть. Пойдемте.

Пьер встал из-за стола, положил блокнот в карман, затянулся начавшей было гаснуть трубкой и вышел из комнаты вместе с директором. С одной стороны, ему хотелось еще раз взглянуть на этого Франсуа Люзьена, а с другой — он счел необходимым понаблюдать, как будет вести себя директор, увидев своего знакомого, распростертого на полу.

Когда они совсем уж было подошли к мертвецу, директор вдруг остановился и даже попятился.

— Нет, не могу. Я уже отсюда вижу, что это действительно Франсуа, то есть Люзьен… Это он… Сомнений нет… Хотя, пожалуй, я все же взгляну.

И он быстро подошел к трупу. Сначала директор просто смотрел. Но вот он стал вглядываться в лицо Люзьена и побледнел. Вытиравшая пот с лысины рука вдруг остановилась и замерла в воздухе. Глаза его расширились, и, обернувшись к Тексье, он произнес дрожащими губами:

— Вы видели его лицо?.. Нет, вы его видели? Он же просто был счастлив… Вы знаете, я в последнее время его таким не видел… Да, не видел, это точно… Простите, можно воды?

Не дожидаясь приказа, полицейский принес стакан. Директор быстро выпил его большими глотками и стал искать глазами, куда бы поставить. И тут взгляд его опять упал на мертвеца. Директор отпрянул и почти выкрикнул:

— Пойдемте отсюда! Я больше не могу! Это же просто невозможно вынести, — и, резко повернувшись, почти выбежал из зала.

Они опять прошли в комнату, где начали свой разговор. Директор бросился в кресло. Он закрыл глаза и сидел так довольно долго.

— Так вы хорошо знали Франсуа Люзьена? — спросил Пьер, когда директор немного пришел в себя.

— Как вам сказать. Друзьями мы не были. Я и не уверен, что Франсуа имел настоящих друзей. Как и многие талантливые люди, при внешней общительности человек он был довольно сухой и замкнутый. Он был поглощен своими делами, наукой, работой, всеми этими комиссиями и заседаниями. Думаю, что у него просто не хватало времени на друзей.

— Но здесь, у вас, он часто бывал?

— Не очень. Так, иногда. Ведь он химик. Что ему здесь делать? — Директор опять начал усиленно вытирать лоб и лысину. И по тому, с каким усердием он делал это, Тексье понял,

что он просто обдумывает, что ему стоит говорить, а что — нет. — Да, кстати, Люзьен был у меня сегодня. Точнее, вчера, ведь сейчас уже утро. Так вот, вчера он был у меня, хотя вообще-то заходил, как я уже сказал, очень и очень редко. За то время, как я работаю здесь директором, он был у меня всего раза четыре.

— А в котором часу он был у вас?

— Да где-то среди дня, в час примерно.

— А что, вы были ему зачем-то нужны?

Директор задумался и опять начал старательно вытирать лысину.

— Да нет, особенных дел у него ко мне не было, — ответил он после некоторого молчания. — Посидел около получаса и ушел. Провожать я его, правда, не стал, мне как раз позвонили.

— Так, значит, вы представления не имеете, как мог сюда попасть Люзьен и что ему ночью было здесь нужно? А может быть, вы хотя бы догадываетесь, что могло с ним произойти? — спросил Пьер и принялся набивать трубку.

— Представления не имею.

— Что ж, тогда не буду вас больше задерживать.

— И я могу идти?

— Да, конечно. Но только никуда не уезжайте, вы еще можете мне понадобиться.

— Если я вам понадоблюсь, вы всегда сможете меня найти. До работы я дома, потом здесь, ну а вечером опять дома. Так что разрешите откланяться.

— Да, да, да, до свидания! — ответил Пьер и встал. Ему уже нечего было делать в этой комнате.

Тексье пробыл в вычислительном центре еще довольно долго. Он поговорил с начальником охраны, осмотрел систему сигнализации, хотя уже прекрасно понимал, что это совершенно не нужно. У него по еще непонятной ему самому причине сложилось мнение, что Франсуа Люзьен просто не уходил из центра после того, как побывал у директора А когда он прошелся по зданию в сопровождении начальника охраны, то убедился, что спрятаться здесь ничего не стоило. Огромное количество закоулков, незанятых помещений и почти целый этаж, где шел ремонт, позволяли остаться практически незаметным в здании не только одному человеку, а пожалуй, и целому десятку.

Для проверки своей версии он попросил вызвать охранника, который был у входа вчера в течение всего дня. Тот вспомнил, что к ним приходил высокий красивый пожилой человек, но пропуска он ему не выписывал, так как его приказал пропустить сам директор. А вот выходил ли этот человек, он точно не помнил и в оправдание сказал, что вчера к ним вообще приходило много

народу.

Так что версия того, как проник Люзьен в вычислительный центр, видимо, подтверждалась. Но это была версия не основного события — смерти ученого, а только малой части его. Теперь оставалось выяснить главное. А вот на этот счет никаких идей у Тексье не было.

Когда он вышел на улицу, было уже совсем светло. Пьер заскочил в кафе, наскоро перекусил и через несколько минут был уже в управлении. В картотеке ему не составило особого труда довольно быстро узнать все о Франсуа Люзьене.

Да, убитый (а Тексье думал, что это все-таки убийство) действительно был ученым с мировой славой. Возраст — шестьдесят два года, после смерти жены второй раз в брак не вступал, психически уравновешен, явных научных врагов не имел…

Катрин, секретарша Люзьена, красивая рыжеволосая девушка с печальным и чуть ли не заплаканным лицом, явно была расстроена смертью своего шефа.

— Ума не приложу, как это могло случиться, — растерянно произнесла она. — Ведь господин Люзьен был таким жизнелюбом, несмотря на свою занятость. Не думаю, чтобы это он сам с собой сделал, несмотря на плохое настроение в последнее время.

— А что, у него было плохое настроение?

— Да, знаете, он последнее время все жаловался на неважное самочувствие. У него сердце начало пошаливать. Я успокаивала его, говорила, что для его возраста это вполне закономерно, но он и слушать не хотел.

— Так, говорите, сердце. Это интересно. Я, с вашего разрешения, позвоню?

— Конечно.

Пьер набрал знакомый номер и услышал басок Анри.

— Анри? Это Пьер. Как там дела с моим сегодняшним?..

— Если коротко, то сильное напряжение и слабое сердце. Но, учти, это предварительное заключение. Может, обнаружатся и другие причины. Однако о чих смогу тебе сказать лишь завтра. Кстати, ты обратил внимание на его лицо? Я, например, такого счастливого покойника никогда не встречал.

— Да, я заметил. Спасибо…

— Слушай, ты позвони своим, а то они уже несколько раз о тебе спрашивали…

Пьер не дослушал его. То, что его интересовало, он уже знал. Только он повесил трубку, как раздался звонок соседнего аппарата.

— Да, приемная господина Люзьена. Кого? — Катрин заговорщически посмотрела на Пьера, показывая, что спрашивают его.

Тексье уже понял, что дальше скрываться не имеет смысла, и, махнув рукой, взял трубку.

— Да, господин комиссар?

— Вы хоть газеты сегодняшние видели?

— Да, видел, — спокойно соврал Пьер.

— Так вот, должны бы понимать, что Люзьен — человек известный. Дело получило широкую огласку. Запомните: если вы завтра в девять часов не доложите мне, что все в порядке, то больше и не просите сложных дел! Да, в виде совета. Вы говорите, что читали газеты, так вам следовало бы обратить внимание только на одну из них. И не на заметку, так как все они — сплошной бред, а только на заголовок «Что же мог знать Люзьен?», так, кажется. Ищите, что он мог знать. Но только до завтрашнего утра.

«А действительно, что же такое мог знать Люзьен? — мелькнуло в голове у Пьера, когда он повесил трубку. — Ведь старик скорее всего прав, что-то такое он должен был знать».

— Все в порядке? — как бы поняв его мысли, спросила секретарша.

— Да. Не откроете ли вы мне кабинет вашего шефа?

— Как это?

— А очень просто, откроете — и все. Его теперь, как говорится, уже нет с нами, так что его кабинетом на какое-то время могу завладеть я.

— Кабинетом можете распоряжаться, но только в моем присутствии, — улыбнулась она.

Секретарша подошла к двери кабинета и открыла ее. Первое, что поразило Пьера, — это размеры кабинета. Похожий на большой зал, он был уставлен шкафами с книгами и различными сувенирами. Если первые не удивили Пьера, то вторые вызвали в нем смешанные чувства. С одной стороны, он был восхищен обилием различных безделушек чуть ли не со всего света, но с другой, — они явно не вязались с рабочим кабинетом серьезного человека. Видимо, поймав его удивленный взгляд, Катрин пояснила:

— Понимаете ли, сувениры, безделушки и всякая экзотическая мелочь — это слабость господина Люзьена. Здесь еще мало, вы бы посмотрели, сколько их у него дома.

— Что ж, потребуется, посмотрю. Надеюсь, вы будете меня сопровождать? А это что такое? — Пьер подошел к шкафу, выделявшемуся тем, что он не был застеклен.

— О, это сейф, и в нем находится главная ценность его музея — яды. Господин Люзьен привозил их из командировок, а некоторые ему доставляли друзья. Вы даже не представляете, каких только ядов здесь нет. Например, есть яды, которыми пользовались американские индейцы. Их тайны, казалось, были утеряны навсегда. А есть и яды, неизвестные даже специалистам.

— И что же, он просто их собирал? — спросил Пьер.

— Конечно, нет. Вы забываете, что господин Люзьен был не только коллекционером, но и ученым. Он изучал, смешивая яды, создавал такие, что, как он сам рассказывал, одного миллиграмма достаточно, чтобы убить чуть ли не миллион человек. Причем не всякая экспертиза обнаружит причину смерти.

К удивлению Катрин, Тексье достал из кармана ключи, которые он нашел у Люзьена, и, отобрав самый сложный, вставил его в замочную скважину.

— Погодите, я отключу сигнализацию. — Катрин подошла к одному из книжных шкафов, открыла его и, вынув какую-то книгу, что-то повернула на стене за ней. — Ну вот, теперь можете открывать.

Пьер повернул ключ, распахнул дверцу и увидел на полках всевозможные бутылочки, пузырьки, банки и коробочки. У инспектора невольно мелькнула мысль: не в этом ли разгадка всей тайны? Он уже было хотел окончательно убедить себя в такой версии и попросить тщательнее провести исследование трупа ученого на присутствие яда, но секретарша, видно поняв его мысли, тут же заговорила:

— Нет, нет, не думаю, чтобы он стал накладывать на себя руки, да еще таким способом. Это совершенно непохоже на него. И, вообще, он боялся, как бы эти яды не попали в чьи-нибудь руки.

— Скажите, а здесь все на месте?

— Вы знаете, я видела коллекцию несколько раз и не могу сказать точно. Мне кажется, все на месте, но поручиться не могу.

— Ну ладно, этим я займусь потом, — сказал инспектор, захлопнув дверцу сейфа и спрятав ключи в карман. — А пока давайте осмотрим стол.

На самом столе бумаг и вещей было мало. Бумаги интереса не представляли, вещи — тем более. Пьер попытался выдвинуть один из ящиков стола, оказалось, что он заперт, дернул за второй — то же самое. Он опять достал ключи. В одном из ящиков лежали какие-то научные отчеты. Во втором — та же картина: аккуратные папки с бумагами. Так он прошелся по всем боковым ящикам, но не обнаружил ничего интересного.

Оставался средний ящик, но Пьер уже не верил, что найдет там что-либо достойное внимания. Ключ в скважине подавался с трудом, и, когда все же удалось повернуть и выдвинуть ящик, Тексье вздохнул с разочарованием. В нем лежало всего несколько авторучек, какие-то квитанции, бумажки, пара зажигалок, блокнотик, который инспектор на всякий случай вынул, сердечные таблетки и большая тетрадь в переплете из настоящей кожи.

— Что это? — спросил Тексье, беря тетрадь в руки.

— Скорее всего дневник господина Люзьена. Я знаю, что он вел его, но, по-моему, нерегулярно. Правда, видеть его мне не приходилось.

— Действительно, смотрите, он не записывал ничего целый месяц.

Пьер раскрыл тетрадь где-то посередине.

— Это когда?

— А, два месяца назад. Перед этим он вел записи 12 марта, а следующая — только 8 апреля.

— Тогда у него был последний сердечный приступ.

— Это интересно, — бросил Пьер, стараясь разобрать плохой почерк ученого.

«8. IV. Да, с сердцем творится что-то неладное. Хотя врачи и говорят, что это лишь… (тут Пьер не смог ничего разобрать) все это не так. Я-то лучше их чувствую, каково ему. Оно явно выдыхается. Что же делать? Надо пойти к кому-либо из светил.

10.1 V. Все они хороши. Каждый говорит, что для моего возраста это вполне нормально. Необходимы, видите ли, режим и отдых. А какие тут отдых и режим, когда столько работы? И конца делам не видно…»

Дальше шли записи, не представляющие особого интереса. Они касались работы и каких-то личных дел. Пьер старался выудить из дневника какую-нибудь ниточку, но пока не мог ее найти. Но вот он кое-что заметил.

«16. IV. …Чувствую себя все хуже, а дел все больше. Но главное даже не в этом. Смерти я не боюсь, а дела мои найдется кому продолжить. Но вот мысли, идеи… Что делать с ними? Пойти посоветоваться с Пироном?..»

Пирон… Пирон… Кто это? Тексье совсем недавно слышал эту фамилию.

— А кто такой Пирон? — спросил Пьер у девушки.

— Пирон? Это директор вычислительного центра института информации.

— Да, да, — согласился Пьер, на всякий случай открыв свою записную книжку и проверив, — а, кстати, они что, были

друзьями?

— Нельзя сказать, чтобы близкими, но друзьями были.

— Это интересно, — медленно проговорил Пьер, продолжая читать дневник.

«17. IV. Быть может, Пирон и прав, что это единственный разумный выход, но все это так необычно и по-своему даже дико… Не знаю, соглашусь ли я на все это…

22. IV… Сегодня утром опять чувствовал себя плохо. Еле встал, взял машину и добрался до института. Сейчас вроде бы немного отпустило. Но надолго ли? Пожалуй, позвоню Пирону и скажу, что согласен…

26. IV. Вчера был у Пирона в вычислительном центре. Было раннее утро и, кроме нас и дежурных, никого не было. Нам никто не мешал, и мы могли все делать спокойно. До чего же это странно! Я даже не хотел с ним расставаться. Жорж Пирон с трудом меня увел. Ощущение необыкновенное. Нет, это просто удивительно. Мы разговаривали, как старые друзья. Он понимал меня во всем, и я его тоже. Если бы не то, что через час начинался рабочий день и в любое время могли прийти люди, я бы ни за что не расстался с ним. В душе творится что-то непонятное. Когда я сказал об этом Жоржу, тот ответил, что запрещает мне видеться с ним…

20. VI. (Когда Пьер увидел это число, его покоробило. Ведь это было вчера.) С самого утра чувствую себя плохо. Все последние дни я думаю только о том, что должен обязательно увидеться с ним. Ведь ему так хорошо, а мне так плохо. Пытался уговорить Жоржа, чтобы он разрешил мне свидание, но он и слушать не хочет. А я чувствую: если не увижу его, то сойду с ума. Поеду прямо к Пирону. Если же он на этот раз не разрешит, то я…» (Дальше все было написано так неразборчиво, что, несмотря на все старания, Пьеру разобрать ничего не удалось.)

— Вы поняли что-нибудь? — взволнованно спросила девушка.

— Пока не совсем, но попытаюсь разобраться. Сейчас я уйду и захвачу эту тетрадь с собой, если вы, конечно, не возражаете. А завтра вечером, если все будет так, как я думаю, мы с вами обязательно увидимся. Ведь не зря же судьба свела нас.

— А если все будет не так, как вы думаете?

— То мы увидимся только послезавтра.

— Почему? — спросила Катрин с явным сожалением.

— А потому, что я получу такую взбучку от своего комиссара, что мне будет не до прогулок.

И, предупредив Катрин, чтобы она никого не впускала в кабинет без его разрешения, Пьер схватил тетрадь и вышел. Он понимал, что должен сейчас спокойно ходить по улицам и

думать. Ему всегда хорошо думалось, когда он бродил без всякой цели или сидел на лавочке на одном из бульваров и спокойно курил.

Итак, Тексье имел следующее: первое — у Люзьена было слабое сердце. Второе — он обладал одной из богатейших коллекций ядов. Третье — он прекрасно знал Жоржа Пирона. Четвертое — их связывало что-то общее. Пятое — Пирон был против очередной встречи Люзьена с кем-то третьим. Шестое — Франсуа Люзьену была просто необходима эта встреча. Седьмое — Жорж Пирон знает, по крайней мере, понимает, что произошло в зале вычислительного центра, но сам об этом никогда и никому не расскажет.

Конечно, можно предположить, что Пирона и Люзьена связывала какая-то тайна. Но Люзьен был в таком состоянии, что мог выдать или разоблачить директора, и тогда последний просто отравил химика его же собственным ядом. Они были довольно хорошо знакомы, и достать этот яд Пирону не составило бы большого труда. Пьер подумал, что, пожалуй, надо потребовать повторной экспертизы, и уже встал было, чтобы идти, как вдруг одна фраза из дневника Люзьена всплыла в его мозгу.

«А вот мысли, идеи… Что делать с ними?»

Что же могла значить эта фраза? Пьер открыл дневник и перечитал ее еще раз. Да, все правильно. Но что она значит? То есть прямой смысл ее понятен. Но почему же она тогда не выходит из головы? Люзьен — химик, Пирон — кибернетик. Что же могло связывать их? Мысли — Пирон… Пирон — мысли…

И вдруг неожиданная идея поразила инспектора. Она была фантастична и бредова.

«Нет, не может этого быть! Это просто невероятно! Чепуха какая-то, — убеждал себя Пьер, но новая версия уже завладела им полностью. — Надо немедленно поехать к Жан-Клоду. Он все-таки кибернетик и поможет мне кое в чем разобраться».

Тексье вскочил и чуть ли не бегом направился к ближайшей стоянке такси.

Его школьный товарищ Жан-Клод очень удивился, когда Пьер ворвался к нему. Еще бы, они не виделись уже давно, а тут вдруг без звонка…

— Что случилось, мой дорогой Шерлок Холмс? — спросил он с веселой улыбкой. — Твоего вида можно испугаться. Может, ты прибежал предупредить, что через минуту за мной придут?

— Если бы так, то все было бы проще. Я позвонил бы тебе, а бежать было бы ни к чему. У меня дело поважнее. Только ты не смейся и не сочти меня сумасшедшим…

И Пьер рассказал приятелю о том, что произошло этой ночью,

и о том, что неожиданно пришло ему в голову. Сначала Жан-Клод слушал его с недоверчивой улыбкой, но, когда Пьер начал выкладывать все свои аргументы, он явно заинтересовался.

— Послушай, Жан-Клод, а может ли человека убить током, если он полез в компьютер, не отключив его от сети. Понимаешь, наши эксперты сказали, что причина смерти пока точно не установлена, но очень похоже именно на это.

— Знаешь ли, тут можно ответить и да и нет. Дело в том, что человека опытного, то есть хорошо знающего, что такое компьютер, убить не может. Но вот человека, совершенно незнакомого с устройством машины… Хотя вероятность этого довольно мала. Разве что только… человека специально подставили.

— Думаешь, такое возможно?

— Я исхожу из того, что ты мне рассказал. Идея, которую ты выдвинул, вполне реальна. Я уже кое-что слышал о таких вещах. Но почему такой трагический конец, если он не был предусмотрен заранее? Шансов на случайность, повторяю, очень и очень мало. Но если Пирон действительно виноват, то он сегодня же попытается уничтожить все следы. Надо немедленно ехать в вычислительный центр, а потом ты ничего не докажешь. И знаешь, я, пожалуй, поеду с тобой. Не возражаешь?

— Конечно, нет! Я сам хотел просить тебя.

Провести Жан-Клода в вычислительный центр не составило особого труда. У входа дежурил знакомый охранник, а Тексье выдал друга за эксперта-криминалиста. Ну а дальше они поступили так, как, наверное, сделал и Франсуа Люзьен. Они прошли на этаж, где шел ремонт, и заперлись в одной из комнат. И только когда, по расчетам инспектора, все сотрудники ушли, они проникли в зал, где прошедшей ночью обнаружили труп Люзьена. Спрятаться же там за ящиками электронно-вычислительных машин было просто.

Ждать пришлось довольно долго. Как и всегда в ‘ подобных случаях, Жорж Пирон появился тогда, когда они решили, что он уже не придет. Он шел медленной, грузной походкой. Вот он уже прошел в двух метрах от них и приблизился к тому месту, где произошла трагедия. Пирон остановился, как бы раздумывая, потом покачал головой и поднял руку, чтобы нажать на одну из кнопок пульта компьютера.

— Остановитесь, Пирон! — рявкнул инспектор Тексье таким громовым голосом, что даже сам испугался. Он полез было за пистолетом, но понял, что это не понадобится. Жорж Пирон покачнулся и схватился за стоящий рядом стул. Друзья бросились к нему и, подхватив, усадили. Через минуту Жан-Клод принес

откуда-то стакан воды, а еще через десять минут Пирон открыл глаза.

— Что вы здесь делаете? — еле слышным голосом спросил он.

— Я здесь по своим делам. А вот вы зачем здесь?

— Вы же прекрасно знаете, что я здесь работаю.

— Это я действительно знаю. Но в этот зал вам совершенно незачем было приходить в такое время.

— Я просто хотел посмотреть на место, где это случилось.

— Вы хотите сказать, где вы убили Люзьена.

— Я не думал убивать его, — директор поднял испуганные глаза.

— Не говорите глупостей, мне все уже известно. — Пьер начинал злиться.

— А что вам может быть известно? — вдруг встрепенулся Пирон. — Что ко мне пришел однажды старый мой друг и сказал, что он умирает, так и не закончив своей основной работы — новой теории построения каких-то сенсационных органических соединений. Я, честно говоря, в этом ничего не понимаю. Так в чем же меня можно упрекнуть? В том, что я решил помочь ему и «подключить» к одному из компьютеров, чтобы усилить таким образом интеллектуальную мощь его мозга. Работая в прямой связи с машиной, он мог гораздо быстрее закончить свою теорию. С помощью специального шлема он был соединен с компьютером. Биотоки мозга и токи машины взаимно усиливали друг друга. Человек и компьютер как бы составляли одно целое, один огромный мозг с интеллектом Франсуа и возможностями машины. Что это осуществимо, я прекрасно знал.

Сначала Франсуа не решался на такое, он просто боялся компьютеров, так как всегда был далек от них. Но потом, когда стал чувствовать себя хуже, пришел сюда.

Вы не представляете, что тут произошло. Поработав с компьютером несколько часов, Люзьен никак не хотел с ним расставаться. Будучи интеллектуально одним целым с ним, он переставал чувствовать свое больное сердце, радикулит, застарелый ревматизм. Машина-то лишена всего этого. Да и работа у него стала продвигаться быстрее. Он был просто счастлив и не хотел, чтобы кто-то прервал его счастье.

Я никак не мог оторвать его от компьютера, он не давал снять с себя шлем. Мне пришлось отключить машину от сети. И когда Франсуа понял, что он опять стал самим собой со всеми своими болестями, он чуть с ума не сошел. Наверное, что-то подобное испытывают и наркоманы, когда проходит действие наркотиков. Он был подавлен, разбит, угнетен… мне было страшно смотреть

на него. И тогда я решил, что больше этих встреч не будет.

Но вчера он пришел ко мне и стал настаивать. Я твердо отказал ему. А что произошло дальше — я не знаю…

— А это легко выяснить, — вмешался в разговор Жан-Клод. — Давайте спросим об этом компьютер. Он-то наверняка записал, что случилось.

— Я затем и пришел сюда, чтобы это выяснить, — пролепетал Пирон.

Он подошел к машине и включил ее.

Раздался легкий щелчок.

— Здравствуй! — послышался незнакомый голос.

— Это Франсуа, — пояснил директор почему-то шепотом.

— Здравствуй! — ответил металлический голос компьютера.

— Видишь, я пришел к тебе.

— А зачем? Ты же знаешь, что мы не должны больше видеться.

— Но мне плохо, очень плохо. Ты понимаешь, я умираю. А работа еще не закончена.

— Зачем же мучить себя? Долго так все равно продолжаться не может. Твое сердце этого не выдержит.

— Пусть, зато я буду хоть какое-то время счастливым. Я закончу работу.

— Только не делай глупостей! У тебя и шлема нет.

— Я соединюсь с тобой!

— Это невозможно.

Раздался какой-то металлический скрип и легкий стук. Инспектор догадался, что это Люзьен снимает одну из боковых крышек компьютера, ту самую, около которой его и нашли.

Директор нажал кнопку, и наступила мертвая тишина… Никто не решался нарушить ее. Ведь все присутствовали при смерти, слышали ее.

— Вот видите, как все произошло, — прервал тягостное молчание Пирон. — Он действительно помешался, но умер счастливым. Вы же видели его лицо.

Пьер и Жан-Клод молчали. Да и что они могли сказать!

— Да, а как же вы обо всем догадались? — спросил директор, удивленно подняв брови. — Ведь об этом никто не знал.

— По одной фразе из дневника Люзьена, — ответил Пьер, доставая тетрадку.

1977, № 2
Юрий Медведев
ЧЕРТОВА ДЮЖИНА «ОСКАРОВ»

Светлой памяти режиссера Михаила Барковского, без вести пропавшего в 1983 году.

Рис. Р. Авотина

Я сидел за столом диковинной овальной формы, чем-то смахивающей на орбиту планеты с двумя солнцами. Таких столов в ресторанчике было шесть, но мой располагался удобнее прочих.

Во-первых, потому что рядом мирно дремала в деревянном бочонке довольно-таки симпатичная, хотя и чахлая, пальма, а я люблю комнатные растения. Во-вторых, я видел всех входящих и выходящих. В-третьих, я мог беспрепятственно любоваться панорамой предзакатного моря. Я созерцал, как зарождается волна, как она растет, поднимается, выбрасывает белый ослепительный гребень, докатывающийся до прибрежных камней и разбивающийся об их твердь. Я впервые оказался здесь, на Черном море. После наших холодных северных рек и озер здешняя вода показалась мне неестественно теплой, как бы искусственно подогреваемой. Вернее, само море представилось мне теплокровным живым существом, и я, по правде говоря, так и не решился за эти два дня поплавать хотя бы возле берега.

В ресторанчике было пусто, в этот час отдыхающие еще дремлют на раскаленных каменьях или вяло перекидываются в картишки, убивают время дикарскими играми наподобие подкидного дурака. Хмельное веселье грядет попозже, часов с восьми-девяти, а пока за столом слева старичок пенсионер разгадывал кроссворд, изредка прикладываясь к рюмочке с коньяком, а за столом справа, у раскрытого окна, молодая пара, несомненно, влюбленные, перешептывалась и вдруг взрывалась раскатами смеха.

Новый посетитель проследовал прежде всего к буфету, где, даже не поморщившись, проглотил три четверти стакана водки. После этого он уселся за соседний столик — лицом ко мне и спиной к морю — и стал дожидаться официанта. Тут наконец я смог его рассмотреть. Волосы у него были черные, курчавые, от макушки до лба они были сведены на нет проплешиной. В карих навыкате глазах, живых, беспрестанно перебегающих с места на место, порою обозначивалась отчаянная тоска. Портрет дополнялся тонким носом с горбинкой, пухлыми малиновыми губами и неестественно оттопыренными ушами. Оттопыренные эти уши создавали комичное впечатление: казалось, их владелец то и дело ко всему прислушивается.

Появившемуся официанту он что-то коротко шепнул на ушко, и вскорости перед ним красовалась запотевшая бутылка в обрамлении кое-какой закуски. Минут через десять, весь раскрасневшийся, разомлевший, он разминал пухлыми пальцами сигарету и спрашивал меня через стол:

— Случаем прикурить не найдется?

Я молча ему кивнул. Он подошел, прикурил и, после того как выпустил облако дыма, сказал:

— Зажигалочка у тебя классная. Суперлюксовая. Другой такой и не сыщешь. Прямо скажу, подфартило тебе, дружище…

Ничего, что я перескочил на «ты»?

— Ничего, — отвечал я. — А зажигалочка титановая.

— Одобряю. Металл редкостный. Краем уха слыхал, будто из него батискафы клепают, скафандры и все такое прочее… Я гляжу, ты не пьешь, лимонадом спасаешься. Может, слегка вспрыснем знакомство, а?

Пока я раздумывал над его последней фразой, он исхитрился и бутылку запотевшую, и закуску переметнуть на мой стол. Пить я наотрез отказался, тогда он выпил за нас двоих.

— Да, зажигалочка загляденьице, — говорил он, медленно жуя колбасу. — Чудная больно только. Семь кнопок на ней, для чего ж столько?

— Не семь, а восемь, — улыбнулся я. — Смотря кто прикуривает. Эта вот кнопка, желтая, для холостяков. Красная для женатых. Зеленая для разведенных. Серебристая для футбольных болельщиков. И так далее.

Он рассмеялся, отчего уши у него оттопырились еще больше, так что он стал похож на диковинного зверька.

— А ты шутник, дружище. Сразу видно, человек искусства, богема, так сказать. Курточка у тебя что надо, одних «молний» штук двадцать, не меньше. Небось где-нибудь на Западе отхватил, а? — Он откинулся картинно на стуле, сощурился. — Хочешь, угадаю, чем промышляешь? Киношник… Не угадал?.. Тогда телевизионщик… Опять промахнулся? Радиопостановочки варганишь. Снова нет? Значит, журналист. Пресса!

— Я занимаюсь изучением древних народов и рас. История, палеоэтнография, палеоконтакты. Если непонятно, поясню: проблемы взаимного общения в историческом аспекте, — сухо сказал я.

— Выходит, Крым для тебя сущий клад! — обрадовался он. — Тут недалеко, под Алуштой, нынче крепость сверхдревнюю раскопали. Представляешь, целехонькая вся, стены в вышину метров пять, дворцы, статуи, фрески, загляденьице!.. Сам-то небось нездешний, а? Из Москвы? Из Киева? Из каких краев отдыхаешь?

— В командировке я здесь. В археологической экспедиции. Сам же родом оттуда. — Я неопределенно махнул рукой в сторону буфета. — Из заполярных краев. К нам добираться довольно трудно.

— То-то, гляжу, бледный ты весь, ровно покойник, ха-ха. На севере все такие, я знаю. Ну ничего, здешнее солнышко быстро тебя поджарит. Как на вертеле. — Он проглотил очередную рюмочку и сказал вкрадчиво, точно прислушивался сам к себе. — А я Жилевин. Представь себе, тот самый, Илюша Жилевин. Так

что тебе, ученый жук, повезло.

— Довольно редкая фамилия, — сказал я как можно более учтиво.

Он весь буквально закипел от возмущения.

— И ты хочешь сказать, что не знаешь ничего об Илюше Жилевине? И после этого называешься культурным человеком? Ты и о Мише Барковском, может, слыхом не слыхивал, а?

— Фамилия Барковский встречается чаще, особенно на Украине, — сказал я.

Он закрыл свои жгучие глаза, охватил голову ручонками и закачался из стороны в сторону.

— Этот гражданин чокнутый. И зачем таких берут в науку? Он сидит в ресторане, весь бледный как покойник, пьет лимонад и не знает лучших людей в обществе. Но я помогу этому психованному выздороветь. — Он перестал раскачиваться, раскрыл глаза. — Миша Барковский режиссер «Десанта на Сатурн». Всемирно известного фильма. Того самого, который получил тринадцать «Оскаров». Только не говори мне, будто ты не знаешь ничего насчет «Оскаров», а то я умру от смеха.

— Не умрешь, — сказал я и после некоторого молчания добавил: — Я последние пять лет был в экспедиции, городище древнее откапывали, на Севере, поэтому не знаю многих новостей. Что касается имени Оскар, то оно встречается довольно…

— Довольно! Довольно! — перебил он меня умоляющим движением руки. — Всякий ребенок знает: «Оскар» — это же премия, притом знаменитая на весь белый свет. В Голливуде ежегодно «Оскаров» дают самым наилучшим киношникам. Феллини получил, Антониони, Бергман, Лиза Минели, Пол Скофильд. А Бюнюэль, промежду прочим, сразу четыре «Оскара» взял — два за «Гаргантюа», а два за «Пантагрюэля». Так вот. «Десант на Сатурн» забрал все «Оскары» на три года вперед — тринадцать золотых статуэток привез Миша Барковский, смекнул? Чертова дюжина. Весь мир до сих пор балдеет, хотя уж времени сколько пролетело. — Он привстал, перегнулся ко мне через стол и понизил голос до шепота: — А на самом деле все премии нужно было б вручить — отгадай кому? До старости не угадаешь. Мне! Илюше Жилевину, провались я в тартарары, коли вру. Давай пропустим по маленькой, а? Я еще закажу бутылочку, будь другом, за компанию, как говорится.

И вторая запотевшая бутылочка украсила наш стол диковинной овальной формы, чем-то смахивающей на орбиту планеты с двумя солнцами.

— Жаль, не пьешь ты, бедолага, — говорил умиленно

Жилевин. — Хотя я тебя понимаю, свои причуды у каждого. Я, честно говоря, лишь в последнее время начал зашибать по крупному, особенно всю эту неделю, ну, после разговора с Барковским. Нескладный вышел разговорчик с этим сукиным сыном.

— А что за разговорчик вышел? — вяло поинтересовался я.

— Сложная история. Ну да уж коли на то пошло, расскажу тебе все по порядку. Чем-то ты мне симпатичен, хотя и не пьешь. Только вот подсяду к тебе поближе, не возражаешь? Как говорится, и стены имеют уши… Теперь застынь. Поведаю все как на духу. Душа жаждет выговориться, может, и полегчает потом.

Так вот. Я с детства наделен талантом к иностранным языкам. По всем остальным предметам с троек на четверки перебивался, а как дойдет до английского или французского, учителя на меня не могли нарадоваться. Прирожденный полиглот, можешь не сомневаться. К десяти годам я одолел легко шесть языков, перед институтом знал уже около тридцати, не меньше. На руках меня все носили, перед симпозиумами международными как диковинку выставляли. А мне что? Мне язык выучить — раз плюнуть. Услышу пять-шесть фраз на любом наречии, и тут же у меня в голове, вот здесь, гляди, где шишка выступает, начинается слабое потрескивание, будто компьютер работает. Щелк, щелк — и уже усек новый язык, основу, конечно, а уж тонкости дело наживное… Ты, конечно, думаешь, заливает тебе Илюша, байки рассказывает. По глазам вижу, не веришь. А ты проверь меня. Раз допотопными народами и расами занимаешься, стало быть, хоть один язык древний знаешь. Вот и скажи слов двадцать-тридцать, на пробу, мы ж ничего не теряем.

Я улыбнулся и начал читать на эпическом санскрите любимый отрывок из «Махабхараты»:

…Ночь наступает,
Завтра тебе расскажу
я все по порядку, царевич.
Мир тебе, бодро вставай,
вспомни родителей, верный,
Ночь наступила,
и скрылся Владыка света.
Вылазит ночная нежить,
страшная чарами злыми,
Слышно шуршание листьев,
звери в лесу шевелятся.
Завыли на юго-запад
ужасные злые шакалы.

Они своим воем
тяжко мне сердце тревожат…

Я прочитал главу из «Супружеской верности» до конца и посмотрел на Жилевина испытующе. Он сидел с полузакрытыми глазами, будто задремал. А когда ответил, я, признаться, поразился.

— Этот язык я не знал. Он есть глубокая древность, — отвечал он тоже на санскрите, притом, и это главное, на санскрите эпическом! Он делал ошибки в произношении, он не совсем правильно построил фразу, но чудо свершилось: он говорил на языке, который мало кто знает из людей планеты Земля.

Я бросил ему несколько фраз из «Гильгамеша». И через несколько минут убедился: этот захмелевший человек способен был заговорить на языке древних шумеров!

Я не бог весть какой знаток языков. Но отрывки из древних документов, естественно, знаю наизусть, в конце концов, это моя профессия — знать историю лучше других. Я зачитывал ему допотопной давности тексты на буанском, кельтском, арамейском, гиндукушском, ольверском, татранском наречиях — и он с честью выходил всякий раз из испытания. Наконец, уязвленный, я обратился к нему на столь древнем и сложном говоре, что он и для специалистов показался бы сущей абракадаброй. Этот текст я обнаружил при раскопках северного городища и сам, признаться, только-только начал его расшифровывать. Однако Жилевин и тут восторжествовал.

— Убедился? — печально спросил он. — Дар божий. Тут ни прибавить, ни убавить, как говорится. Да только из-за этого проклятого дара жизнь моя и покатилась кувырком…

Так вот. Учился я на третьем курсе. В мае, перед самыми каникулами, заявляется к нам Барковский, он тогда еще не такой знаменитый был, хотя уж и сорвал в Венеции «Хрустальную звезду». Заявляется он к нам и давай меня заманивать к себе. Выяснилось, что нужен я ему позарез. Он тогда снимать «Десант на Сатурн» только-только начал, журналы, радио, телевидение на сей счет прямо захлебывались. Неужели не вспоминаешь? Странно… Суперколосс! Научная фантастика! Восемнадцать миллионов рубликов было на него отпущено, копейка в копейку. Одних статистов свыше шести тысяч! Актеры — из двадцати с чем-то стран. Барковский меня и зазвал на лето к себе, не хотелось ему возиться с целой бандой переводчиков. А я, дурак, клюнул на посулы, хотя, сказать по правде, платил он мне

прилично, даже не стану говорить сколько, все равно не поверишь. Да и белый свет повидал… Ты по заграницам тоже небось шастаешь, брат археолог?

— Раньше приходилось чаще, чем теперь. Хотя скоро собираюсь в Париж, — сказал я.

— О-ля-ля, Париж! — всплеснул руками Жилевин. — Да я туда катался разочков двадцать, не меньше. Но это уж потом, на следующее лето. А для начала мы с Барковским в Австралию слетали, там сняли кое-что, натуру, как говорится. Через неделю уже в Тибете очутились, храмы щелкали буддийские. А там Гонолулу. А там Южная Америка, Куско, империя древних инков. Барковский, он же дитя природы, весь опутан, как любовями, замыслами, ассоциациями. Сегодня подай ему Гренландию, завтра Японию, послезавтра… В общем, попался я в его сети, как золотая рыбка в сказке Пушкина. Заграница! Дорогие отели! Визиты! Коктейли! Интервью!.. Пришлось брать академический отпуск, настолько пристрастился я к проклятому кино. Ну да ладно, всего не перескажешь, теперь подхожу к самому главному.

Слушай меня внимательно. Только поклянись, поклянись, что никогда никому ни слова, ни полслова! Клянешься? Ладно, я тебе и без клятвы верю, чем-то ты мне симпатичен, хотя и не пьешь.

Снимали мы, стало быть, здесь, недалеко, под Судаком, километрах в десяти-двенадцати, в ущелье, возле моря. Заглавный снимали эпизод — высадку землян на Сатурн. Ну, что такое киноэкспедиция, ты наверняка знаешь, а если не знаешь, не беда. Представь себе: довольно широкое ущелье, речонка журчит, море прибоем играет. На холме треть планетолета выстроена, для съемки и трети достаточно, остальное дело операторов. Возле берега растения чудные из полиэтилена понатыканы. Большую же часть ущелья занимают макеты убогих хижин сатурнианцев. По замыслу сценариста, земляне туда прилетают, а там вроде бы каменный век. Дикость, борьба с чудовищами, туземки в повязках набедренных, зритель такой антураж обожает до беспамятства, верно я говорю, а?..

Для вящей убедительности наши декораторы создали макет поселения дикарского по картинкам из «Истории Африки» Гордона Уайлза, есть такой знаменитый на весь мир цветной атлас. Взяли и передрали один к одному хижины, костюмы, оружие племени нгала, что в Южной Африке обитает. Не удивляйся, кино сплошная мистификация…

Как сейчас помню, не шел эпизод. За две ночи семнадцать дублей намотали, а Барковский все недоволен: и это ему не так, и то не эдак, он когда на съемочной площадке, то прямо как чокнутый. Все с ног валятся от усталости, а ему хоть бы что У

меня от перенапряжения левый глаз дергаться начал, видно, подскочило давление.

Вечером перед третьей ночью решил я малость поспать. Договорился с Барковским, что меня разбудят ровно в полночь, когда уже и свет будет установлен, и грим наложат, — короче, к самому началу съемок. А спать я наловчился — отгадай где? В жизни не отгадаешь. В астроотсеке нашего планетолета. Диваны там мягкие как перина, приборов немыслимых рой, ночью проснешься: луна за прозрачным колпаком, звезды огромные южные, будто в другой мир попал. Главное же, крики с площадки не слышны, хоть и здорово надрывается Барковский, глотка у него прямо-таки луженая, а я сплю в спокойствии да тишине.

Я проснулся будто по наитию. Точно меня током дернуло или тварь какая укусила. По привычке посмотрел на часы — полдвенадцатого. Тут яркий сиреневый свет прокатился по колпаку астроотсека. Неужто, думаю, наши осветители решили меня разбудить таким макаром: они у нас любят выпендриваться. Поднялся я с дивана, подхожу к колпаку — глазам своим не поверил. Висит над ущельем бандура, круглая, вроде медузы, метров двести в поперечнике, вся огоньками испещрена разноцветными. Висит — и заливает ущелье светом сиреневым. Сознаюсь, я спросонья не сразу допетрил, что к чему, даже мыслишка мелькнула шальная. Неужто, думаю, сумел Барковский с кем надо договориться и такую штуковину для съемок заграбастать? И тут я похолодел. Было абсолютно тихо, я даже слышал тиканье своих часов. Вот от тишины-то у меня мороз по коже и прошел. Чтобы таких размеров аппаратик висел в небе без грохота и рокота — до этого твоя земная наука еще не доскакала, шалишь, брат ученый. И другое меня поразило в самое сердце: свет тот дьявольский вообще не давал тени. Правда, пластмассовый колпак немного искажает перспективу, так что глаз мог и ошибиться. Открываю люк, высовываюсь до пояса наружу. Так и есть: парит в воздухе голубушка медуза, притом в абсолютной тишине, даже движок нашей дизель-электростанции замолк. И конечно, ни единой тени… Чего это глаза у тебя холодные, точно ледышки? Не веришь? Думаешь, россказни, пьяный бред? Погоди, ты сейчас не такое услышишь, главное впереди…

Я внимательно изучал Жилевина. Руки у него исходили нервной дрожью, на лбу выступили бисеринки пота, а левый глаз начал заметно подергиваться.

— Да, главное впереди. Главное в том, что зря я высунулся по пояс из люка, зря. Они меня, видать, заметили, и сразу же острый желтоватый пучок света уперся туда, откуда я высунулся. Не

спрашивай как, но оказался я вытянутым из астроотсека, точно щупальца невидимые присосались, и прямо по воздуху — представляешь! — прямо по воздуху поплыл к медузе. Желтый луч всасывал меня в себя, как труба. Другой бы на моем месте тут же рехнулся бы, во всяком случае, сознание потерял наверняка, а мне хоть бы что. Какая-то холодная ясность была в мозгу, как при бессоннице. Веришь ли, я все замечал: и как ночные бабочки, залетев в желтый луч, увязали в нем, словно в липовом меду, и как луч кончался на мне, а позади меня все удлинялись тьма, пустота, тишина. Но самое невероятное оказалось внизу, в ущелье. Знаешь, как в сказках злые волшебники погружают целые королевства в сон? Точь-в-точь такую картину я увидел под собой, пока плыл к медузе.

Внизу как по мановению волшебной палочки оцепенела вся наша киноэкспедиция. Оцепенели в самых невообразимых позах главные герои: Бурвиль так и не допил свой любимый оранжад, Пол Ньюмен сидел с приподнятой шляпой, Ален Делон зашнуровывал скафандр. Катя Паскалева о чем-то шепталась с Джиной Лоллобриджидой. Баниoнис, Грегори Пек, Мастрояни и Автандил Лежава резались, как всегда, в преферанс. Дублеры, сотни статистов — все, буквально все замерли как статуи. И не только люди. Приблудный пес Казбек, добродушный увалень величиной с теленка, как перепрыгивал через речку, так и остался висеть в воздухе. Над кроной тутового дерева распластались две совы, будто наткнулись на невидимую преграду. Сиреневый свет накрыл все как колпаком… Смотри, у меня мурашки по руке пошли, жутко вспоминать, а тогда я даже бровью не повел.

Так вот. Подплываю я к медузе, ближе к ее верхней части. Луч спокойно протаскивает меня сквозь стену. Веришь ли, как сквозь ряску болотную. Р-раз! — и сомкнулась ряска, ничего вроде бы и не было, а на ощупь стена под стать броне, я успел рукой провести. Очутился я внутри этой штуковины, гляжу, длиннющее помещение. То коридор, то ли черт знает что, запомнил только, как по стенам фиолетовым искры мельтешат. На себя поглядел: руки-ноги целы, слава богу, а сам я как бы внутри желтого воздушного шара. Оболочку видать, а пальцем ткнешь — пусто, ничего, такой, брат, фокус.

Тут возникают в конце коридора две фигуры. Приземистые, коротконогие, как таксы, ростом метра полтора от силы. И в плечах ровно столько же, хочешь верь, хочешь нет. Приблизились они ко мне, вижу, оба в скафандрах, лиц не видать, только щелочки для глаз. А на ногах какие-то колесики, вроде наших роликовых, я толком не рассмотрел. На колесиках этих они довольно ловко семенят, хотя для постороннего глаза и

непривычно.

Подкатили они, руками машут: изволь, мол, пожаловать вослед за нами. А мне что, мне терять нечего, одну надежду лелею: возможно, я все еще сплю и снится сон, я подчас и похлеще сны вижу.

Шел я с ними минут пятнадцать, не меньше. Опять сквозь стены проламывались, поскольку дверей там нет ни одной, на тележках тряслись, поднимались куда-то, опускались, даже головою вниз шествовали — фантастика, да и только. И вот пока мы так пробирались внутри медузы, начал я прислушиваться к их разговору, и вдруг слышу у себя в голове, вот здесь, где шишка, слабое такое пощелкивание, потрескивание. Эге, думаю, заработал мой компьютер! Щелк-щелк, и будто из пелены прорезался для меня их говор, чувствую, начинаю понимать, о чем толкуют мои таксы…

Ты, дружище, не поверишь, какие случаются подчас совпадения. Слушай меня внимательно и удивляйся. Оказывается, сюда, на Землю, нагрянула киноэкспедиция с другой планеты! В прошлом веке ихние предки посетили дикарей того самого племени нгала, что в Южной Африке, я тебе говорил. Вот они и вознамерились снять о том посещении грандиозный фильм, вроде нашего боевика. На натуре, как говорится. Однако, еще не долетев до Африки, заметили они весь наш реквизит в ущелье: и хижины заметили дикарские, и самих нгальцев, размалеванных, топориками бешено потрясающих, боевой отплясывающих танец. Заинтересовались они, откуда в здешних местах нгальцы вдруг ни с того, ни с сего появились, если в прошлом веке обитали они в Африке? То ли сами добровольно переметнулись, то ли загнали их сюда лютые враги? Одним словом, решили разузнать, что к чему, опустились и усыпили всех туземцев на некоторое время. Они поначалу всегда так поступают, прежде чем вступить в контакт с низко развитыми цивилизациями. Проверяют, нет ли у туземцев всякой там чесотки, трахомы, дизентерии — в общем, зловредных микробов. За детали ихнего разговора не ручаюсь, однако смысл уловил более-менее верно, ты уже убедился, как у меня по части древних и новых языков обстоит…

Шли мы, значит, шли коридорами и в конце концов очутились перед стеной. Гладкая такая, вся зеленоватая, то ли пленка, то ли стена. И снова сквозь нее пролезли, как сквозь ряску болотную. А едва пролезли, я весь так и обомлел. В огромном сферическом зале понабивалось такс видимо-невидимо, штук сто пятьдесят, если не больше. Скафандры у всех золотом отсвечивают, я даже зажмурился от нестерпимого блеска. Какие там устройства обалдительные! Какие экраны! Глянешь —

ужас и восторг в душе, не знаешь, в рай попал или в ад. По потолку фиговины всех цветов радуги ползают, одни на лягушек смахивают, другие на ежей, третьи на бабочек, четвертые вообще ни на что не похожи. Какие-то загогулины, посудины прозрачные с растениями внутри, если это, конечно, растения, в чем я крупно сомневаюсь. Начни я подробно описывать все тамошние чудеса, недели не хватит на описания.

Жилевин достал несвежий скомканный платок, высморкался, вздохнул и продолжал свою исповедь:

— Все таксы сидели, вернее, полулежали в креслах, чем-то смахивающих на те, что у дантистов в кабинетах. А один стоял на возвышении. Я сразу признал в нем главного и окрестил про себя Капитаном. Капитан был раза в два выше и толще других, представь себе громилу ростом метра два с половиной и в плечах столько же. Пусти такого на хоккейное поле — да он один всю канадскую профессиональную лигу разметает, мокрого места от ихних драчунов не останется… Ладно, не буду отвлекаться.

Поворачивают они свои кресла в нашу сторону, а Капитан-верзила строго эдак спрашивает у моих проводников. Так, мол, и так, и проэдак, почему вышла накладка, почему этот дикарь неусыпленным вместе со всеми дикарями оказался? В общем, честит их в хвост и в гриву. Таксы мои оправдываются как могут: никто, мол, не предполагал, что я в планетолете недостроенном на холме затаился, а когда заметили меня, перенастраивать машину усыпительную было поздно, целиком была она задействована на нашу несчастную киноэкспедицию. Объявил он им по выговору в сердцах, а после и говорит: «Ладно, — говорит, — нет худа без добра. Возьмите, — говорит, — туземца, уж коли он здесь, и исследуйте на предмет болезней, инфекций и всякой прочей нечисти. Усыпить, — говорит, — туземца в операционной, живот взрезать, печенку-селезенку и прочую требуху доподлинно изучить, черепушку вскрыть, насчет мозга полюбопытствовать, а потом все снова собрать и память насчет событий нынешней ночи стереть». Во как распорядился, живодер инопланетный, я до сих пор, едва вспомню его рыло, весь прямо передергиваюсь… — При этих словах Жилевина и впрямь передернуло. — Вот она, вся ваша наука! Лягушек скальпелями полосуете, собакам головы прививляете, свинок морских заражаете чумой. На благо, так сказать, прогресса. А тут я сам вроде свинки морской угодил в подопытные твари. Чтобы мне, Илюше Жилевину, распластали брюхо и черепушку сняли — нет, я еще за себя поборюсь, решил я втихомолку.

«Братцы, — взмолился я весь в слезах, — драгоценные братья по разуму! Помилосердствуйте! Не исследуйте меня, христа ради!

За что ж такое надругательство над неженатым еще человеком!» Я, между прочим, кое-чему на съемках научился, азы актерского мастерства немного постиг, дело это нехитрое. Брякнулся я на колени, белугой реву, бью им поклоны до земли, рубаху на себе рву. И вдруг почуял неладное: смолкли промеж ними разговоры. Капитан в кресло опустился, а оба проводника моих метров на двадцать от меня деру дали, как корова их языком слизнула. Гляжу, повертел Капитан на скафандре рычажок — и перенесся я в пузыре своем воздушном прямо к нему, на возвышение. Спрашивает он меня строго-настрого: откуда, мол, язык ихний мне знаком. А мне чего таиться, мне терять нечего, я и поведал все чистосердечно: так, мол, и так, врожденный дар к языкам… Скажу тебе прямо: не сразу они поверили, даже экзаменовать меня принялись, как ты сегодня со своими царевичами, владыками света, ужасными злыми шакалами и прочей белибердой. Чем экзамен кончился, ты, конечно, догадываешься?

— Догадываюсь, — сказал я.

— Ну, рассказал я им подробнейшим образом про житье-бытье на матушке Земле. Про нашу экспедицию все описал, загадку нгальцев объяснил. Однако и здесь дал промашку. Черт меня дернул сболтнуть, что по сценарию наши дикари и есть коренные обитатели Сатурна. Что тут началось среди них — ни в сказке не сказать, ни пером не описать. Шум, грохот, вопли, крики возмущения, таксы из кресел повскакали, скафандрами грохочут, даже чем-то паленым запахло, как если бы проводка перегорела… Ты, дружище, не поверишь, какие случаются совпадения. Слушай меня внимательно и удивляйся: оказались мои таксы — кем бы ты думал? — сатурнианцами. По глазам вижу, не веришь, а?

Жилевин залпом опрокинул рюмку и запил моим лимонадом.

— На Сатурне жизни нет, — сказал я твердо. — Там такие разреженные ядовитые газы, что…

— А я тебе говорю: сатурнианцы, даже не спорь! — запротестовал Жилевин. — Из-за них-то и пошла моя жизнь вкривь да вкось. Ты дальше слушай, самое главное опять впереди.

Кричат они, возмущаются, кое-кто даже грозится все ущелье в пух и в прах разворотить, с лица земли стереть друзей моих, товарищей за клевету на планету и всю их благородную цивилизацию. Еле-еле восстановил Капитан порядок.

«Погодите, — говорит, — высокомудрые сатурнианцы, расправиться мы с туземцами всегда сумеем, да только сперва поглядеть надо, чего они там уже наснимали».

Тут я им и поясняю: да не готов еще фильм, три эпизода не отсняты, трюки не смонтированы, звук не наложен, и все такое

прочее.

«Ничего, посмотрим, что уже отснято», — отвечает Капитан и допытывается: где коробки с отснятой пленкой.

«Где ж им еще быть, — говорю я, — кроме сейфа Миши Барковского, он с этим сейфом днюет и ночует. В палатке главного режиссера, — говорю, — отснятая пленка, под нами, внизу». И тычу пальцем в пол. Чудно, но пол вдруг стал прозрачным как стекло, и опять увидел я под собою все наше сонное королевство.

«Покажи, где эта палатка», — велит Капитан.

«Вот там, — говорю, — рядом с речушкой, возле обрыва, крыша драконами размалевана».

Я еще и рта не закрыл, а уж лучик мой желтенький к палатке протянулся, заграбастал сейф и в медузу тем же макаром, что и меня, поволок, а в сейфе, между прочим, килограммчиков двести, не меньше, его обычно вчетвером на машину грузят. Я оглянуться не успел — стоит сейф рядом со мною.

«Ключи, ключи забыли!» — опять тычу я пальцем в пол, а пол на глазах мутнеет, и стал как прежде.

Какие там ключи! Один из них по знаку Капитана к сейфу подсеменил и лапы внутрь сквозь стенки — нет, ты только представь: сквозь толстые стальные стенки! — просунул. Вытащил он все девять коробок с пленками и сразу с ними смотался из зала. Свет начал меркнуть, и прямо над собою, словно в воздухе, я увидел, как вспыхнули кадры из «Десанта на Сатурн»… И давай глазеть таксы на нашу продукцию, все посмотрели, правда, время от времени гвалт поднимался невообразимый, это когда шли сцены на Сатурне, сам понимаешь. А когда прошел последний эпизод, там, где Катя Паскалева с Мастрояни целуются, выдворили меня таксы из зала. Я так понял: теперь будет решаться наша судьба. Сижу в коридорчике среди огней, по стенам прыгающих, зуб на зуб не попадает, такой озноб охватил, все тело ходит ходуном.

Не помню, сколько пришлось ждать, наконец потащил меня пузырь воздушный обратно в зал. Там теперь было пусто, сидел на своем возвышении Капитан, а с ним пять-шесть такс, вот и вся компания. И возвещают они, стало быть, мне свою резолюцию. Во-первых, все сцены на Сатурне они постановили изъять и забрать себе, не знаю уж, для каких целей. Во-вторых, вместо забранной пленки вложили они в коробки несколько документальных видовых фильмов о всамделишной сатурнианской жизни. Это, значит, чтоб земляне, хоть они в полное доверие других миров еще не вошли, начинали помаленьку понимать, с какими не такими уж дикими цивилизациями доведется им встретиться.

Понятно, в будущем, не сейчас. Чтоб психика землян настраивалась в нужную сторону. В-третьих… это меня касалось. Пересмотрели мое дело, пожалели потрошить, как лягушку, разжалобил я их, видно, мольбами. А под конец Капитан и говорит.

«Не будем мы, — говорит, — Илюша, мозг твой облучать, память об нынешней ночи стирать. Боимся, не рассчитаем чуток, заденем ненароком то место, где дар твой бесценный затаен. Ты, — говорит, — Илюша, единственное разумное существо в нашей системе солнечной, а может, в целой Галактике, с таким даром к языкам. Ты, — говорит, — себя теперь береги. Как наши экспедиции станут впредь к вам прилетать, а они время от времени прилетают, будешь ты у нас вроде переводчика, толмача, если нужда, ясное дело, возникнет. Только уж, чур, давай договоримся по-джентльменски, — говорит Капитан. — Обо всем, что видел-слышал, никому ни гугу. Поклянись самой страшной клятвой, что тайну неукоснительно соблюдешь. А коли заикнешься кому, тогда на себя пеняй, больше ни на кого. Дара речи беспощадно лишим да вдобавок выведем из человеческого облика».

Ты представляешь, дружище, так и пригрозил: мол, из облика человеческого выведем, каков фокусник, а? «Быком, — говорит, — вмиг обернешься, либо козлом, либо собакой, либо еще кем придется. Нам, сатурнианцам, перелицевать твою внешность — раз плюнуть».

Почесал я затылок в раздумье и, сам понимаешь, поклялся. Куда деваться, на что хочешь пойдешь ради спасения собственной шкуры. Пожалуй, я еще закурю, поднеси огонька, дружище. Классная, говорю, у тебя зажигалочка, знаток за такую сотню целковых отвалит, глазом не моргнет. Титановая, говоришь?

— Титановая, — подтвердил я, а Жилевин, глубоко затянувшись, продолжал:

— Остальное уже не так интересно. Улетели они в Африку, к настоящим нгальцам, фильм свой кропать, я даже название запомнил: «Высадка на Землю». Если скажу, сколько у них на съемку всего фильма уходит, ты опять не поверишь. Одна-единственная ночь, понял. Сотни две камер сразу задействованы, павильонов съемочных под сотню, не чета нашим киностудиям. Ничего не попишешь, далеконько шагнула техника ихняя, куда угнаться землянам…

Так вот. Отволок меня луч в астроотсек — батюшки-светы, каким же убогим он мне показался! Я как будто из Петродворца в барак съехал. Люк я для видимости, понятно, захлопнул, но к щелочке глазом прикипел, любопытство разбирает, как дальше

все закончится с медузой. Замечаю, ослабевает сиреневый свет, ослабевает. И огоньки, что по медузе перемигивались, вроде бы потускнели, пока вовсе не пропал корабль сатурнианский, будто его и не было. Вдруг — как выключателем кто щелкнул — ожило наше заколдованное королевство. Движок дизеля заработал, свет везде вспыхнул, Барковский, как обычно, рупором размахивает, нгальцы в пляске своей трясутся, репетируют эпизод.

Выкарабкался я из планетолета, с холма единым махом сковырнулся, подбегаю к Барковскому — все честь по чести, все на своих местах, будто и не было ничего Заглядываю тайком в палатку к Барковскому — сейф цел-целехонек.

Через несколько дней Барковский в Москву ненадолго смотался. И коробочки с пленкой — заметь! — с собою увез, наткнулся, видимо, на подарочек инопланетный. А когда возвратился из Москвы, объявил всем громогласно: я, мол, способ особый изобрел для съемок натуры на Сатурне, что-то вроде сверхблуждающей маски, поэтому хижины к черту размонтировать, статистов разогнать, экспедицию свернуть, остальное доснимем в Москве, в павильоне.

В общем, к маю «Десант на Сатурн» был готов. Жаль, ты его не видел, обязательно посмотри. Фильм шесть часов идет, а не оторвешься. Какой там Сатурн! Какие дворцы летающие! Какие подводные съемки! С чудовищами многоглавыми, с русалками, их на Сатурне тьма-тьмущая, со схватками хищников, каждый метров по сто пятьдесят. А города какие! Дома наподобие деревьев из — почвы вырастают, километров на десять в вышину! Сатурнианцы как стрекозы в небе порхают! Рай, да и только!

К осени Барковский все главные премии у нас в стране уже сорвал: и в Ташкенте, и в Новосибирске, и в Кишиневе, и на Московском международном — везде. Послали «Десант» в Канны — полный триумф! В Венецию — и тут Барковский всех обскакал, и Феллики, и Бюнюэля, и Бергмана, будь покоен. Из Триеста привез в том же году «Бриллиантовый астероид», с Филиппин — «Золотой лотос». Как Барковского везде принимали! Какие речи говорили! Патриархом современного кино с чьей-то легкой руки начали величать, хотя какой он патриарх в свои сорок семь с хвостиком, верно я говорю, а?

Я, понятное дело, везде с ним катался, везде порхал, и на меня отблеск его славы, как говорится, пал. Он на телевидении — и я на телевидении, он ручку жене президента целует, и я прикладываюсь, а как же иначе, личный переводчик, без меня ему шагу ступить некуда, он в иностранных языках был ни бум-бум… И вот наконец сваливаются на него все тринадцать «Оскаров» разом — представляешь, что это такое?

Из актеров трое получили: Пол Ньюмэн, Филипп Ноаре и Катя Паскалева, красивая такая болгарка, она еще в «Козьем роге» прогремела, наверно, ты знаешь. Сценарист получил, оператор, художник-декоратор, художник по костюмам, даже звукорежиссеру не пожалели золотой статуэтки, никогда такого не было за всю историю кино…

И закатили же нам встречу на родной земле по возвращении из Голливуда — не буду описывать в подробностях, все равно не поверишь. Целых два года валялись мы как сыр в масле. Буквально все — от кинопередвижника до академика — стелились перед Барковским. Герой! Метр! Член всех международных жюри! Президент Всемирной академии киноискусства! Жену с двумя детьми бросил, на француженке женился, это высший шик у наших киношников, да и не только у киношников… Я тоже на свой институт рукой махнул, и без диплома не последний человек на Земле…

Слушай меня внимательно. Теперь начинается самое печальное. Последние полмесяца мы с Барковским болтались здесь, в Судаке. Очередной международный симпозиум. Опять Мишку до небес превозносили, какую-то премию вручали, у него этих премий хоть пруд пруди. А в прошлую субботу зашли мы сюда, в этот кафешантан, клюнуть по маленькой, как говорится. Здесь уютно, народу днем почти нет, а главное, столы здесь из реквизита «Десанта на Сатурн», видишь, какой они заковыристой формы.

— Их форма напоминает орбиту планеты с двумя солнцами, — сказал я.

— Наверно, так оно и есть, — согласился Жилевин. — Вам, ученым, виднее. Эти столы у нас стояли в кают-компании планетолета. Уговорил нас тогда продать здешний директор, ужас как приглянулись ему эти столы…

Сидим мы с Мишкой, потягиваем коньячок, и представь себе только, какую он речь заводит, мерзавец.

«Кончились, — говорит, — для тебя, Илюша, золотые деньки, отъездился ты со мною по заграницам. Я, — говорит, — теперь в иностранных языках и сам поднавострился, без тебя вполне обойдусь. А главное, — говорит, — неудобно мне стало с тобою, Илюша, в высшем свете фигурировать».

«То есть как неудобно? — спрашиваю я прохвоста Мишку. — В пятидесяти двух странах вместе побывали, целый пуд соли съели, везде верою-правдою тебе, как собака, служил, и вдруг — бац! — неудобно».

«А потому, — говорит, — неудобно, что супруга моя теперешняя Брижитт вида твоего не выносит. Ты, между прочим,

на себя в зеркало лишний раз оглянись. Нос как слива, глаза и впрямь собачьи, уши торчком, плешь до затылка».

Ну и взяла ж меня тут злость, даже какое-то удушье охватило! Ах ты, думаю, тварь, из-за смазливой бабенки предаешь друга своего закадычного, да что там друга! Раба!

«Может, лысина у меня и до затылка, — говорю, — зато совесть перед людьми чиста. На хлебах ворованных не жирею, как некоторые другие гении-лауреаты».

«Про какие такие ворованные хлеба начал ты лясы точить? — спрашивает Барковский. — Ты, — говорит, — плешивый, ври-ври, да не завирайся».

Дружище, можешь себе представить, он меня сам, самолично обозвал плешивым!

Сжал кулаки я под столом, молчу, от обиды губу в кровь прикусил, а в мозгу будто дятел колошматит клювом: плешивый! плешивый! Я, понятно, не Марлон Брандо и не Ален Делон, но тоже кое-какое имею о своей особе представление. Без уважения к себе не то что человек, даже зверь жить не станет, верно я говорю, а?

«Ах ты тварюга, — говорю, — Мишка! Ты мне ноги должен умывать за «Десант на Сатурн», за то, что из семьи торговцев да барышников в люди выбился. Как говорится, из грязи — да в князи, а ты…»

В общем, помутился у меня разум, забыл я про клятву мою страшную инопланетянам, про все на свете забыл. И выложил Барковскому правду-матку, насчет сатурнианцев. Все выложил, ничего не забыл, пусть, думаю, хоть правдой подавится.

И что ты думаешь, дружище? Он спокойно до конца все выслушал, даже бровью не повел, а после поднялся и говорит.

«Ты, — говорит, — спятил. Чокнулся натуральным образом. Все это глупость несусветная, бред больного воображения. Тебя, — говорит, — в сумасшедший дом поместить надо, причем пожизненно, и я, — говорит, — при желании позабочусь об этом. Впредь ты мне, — говорит, — хорек плешивый, даже на глаза не попадайся!»

И ушел, предатель, в тот же день упорхнул в Москву, а оттуда в свой Париж, к Брижитке размалеванной. Ну я и запил от обиды, стыда и огорчения…

Жилевин вытер платком слезы и горько вздохнул:

— Пропади он пропадом в своем Париже. А ты, дружище, коли туда и впрямь собираешься, всенепременно полюбопытствуй на мерзкую харю Барковского. Не знаю, на кого похож я, а этот двурушник — вылитый шакал, ужасный и злой, тонко об этом сказано в древнем стихе, что ты читал.

— Обещаю тебе полюбопытствовать на шакала Барковского, — улыбнулся я, и он тоже мне улыбнулся в ответ жалкой своей улыбкой.

Я осмотрелся. Старичок, разгадывающий кроссворд, исчез. Влюбленные сидели к нам спиной, обнявшись, и смотрели на заходящее солнце. Буфетчица дремала у стойки. Больше в ресторанчике не было ни души.

— Но хоть ты-то мне, дружище, веришь? — заискивающе спросил Жилевин и потянулся за очередной сигаретой.

— Верю тебе, — сказал я. — Верю, что именно так все и было. Как ты описал. Но одна деталь для меня не совсем ясна. Как ты решился нарушить клятву? Не боишься, что они исполнят свою угрозу?

Жилевин почесал возле уха и ответил:

— Честно говоря, побаиваюсь. Но уж коли грех на душу взял, никуда теперь не денешься. Я так рассудил. Даже если они за мной и следят, допустим, то все равно с Сатурна меня козлом не сделаешь, расстояния больно велики, мильоны километров. Надо сюда им опять добираться, А здесь меня на мякине не проведешь, стреляный воробей. Я теперь за город, или в рощу, или в парк ни за какие коврижки не подамся Буду жить в самой гуще народа. Сам понимаешь: над Москвой или даже над Судаком медуза ихняя не станет торчать, не такие они дураки.

— Ты прав, — сказал я. — Всем инопланетным экспедициям наверняка запрещено демаскировать себя подобным образом. Однако существует другой путь. Они смогут зависнуть на орбите, а к тебе командировать специалиста по преображению личности.

— Наивный ты человечек, дружище, — широко улыбнулся Жилевин. — Допустим, пришлют они кого захотят. Теперь рассуди: неужто он может объявиться в людном месте? Я ж тебе говорил, они на такс похожие, уродливы до неимоверности, я по сравнению с ними красивей Жерара Филипа. Да если такое чучело в золотом скафандре появится, допустим, на пляже, или в магазине, или еще где — ты представляешь, какое начнется столпотворение? Если все же удастся ему меня схватить и потащить к медузе, живым ему не уйти, будь спокоен.

— Не заблуждайся относительно их уродства, — сказал я. — Скорее всего ты имел дело с роботами. Истинный облик тех, кому ты давал клятву, тебе, может быть, вообще незнаком. Кроме того, никто им не мешает для командированного сюда специалиста изготовить скафандр, внешне абсолютно копирующий человека. Ты меня прости, я ученый, привык к логическому мышлению.

— Слаба твоя ученая логика, Дружище, — отвечал, не раздумывая Жилевин. — А машину для усыпления и

переиначивания меня он за собою, что ли, поволокет? Машина эта в кубатуре больше нашего ресторана раз в пять, ученая твоя голова. Я ж видел эту машину на медузе.

— Техника совершенствуется не только на Земле, — сказал я своему удивительному собеседнику.

— Дай-ка мне еще прикурить, — попросил после некоторого раздумья Жилевин. — Гран мерси, как говорит эта перекрашенная выдра Брижитт… И все-таки классная у тебя зажигалочка. С ума можно сойти. Надо же: титановая…

— Ты прав, она титановая. Сконструирована на Титане, обитаемом спутнике Сатурна. А на самом Сатурне жизни нет, — сказал я и нажал четыре нужные кнопки на зажигалочке.

За мгновение до того, как Жилевин залаял.

1977, № 3
На конкурс «Время — Пространство — Человек»

Путешествие во времени — только мечта. Ученые, кажется, давно уже решили: нет, невозможна, немыслима сказочная машина, на которой можно было бы отправиться в прошлое или в будущее. Трудно переоценить, однако, притягательность мечты. И вот фантасты снова и снова возвращаются к ней… Среди них — писатель Дмитрий Шашурин и журналист Альберт Валентинов, гости нашего клуба любителей фантастики. Итак, два рассказа о путешествиях во времени.

Дмитрий Шашурин
ВСТРЕЧА В ПАНСИОНАТЕ

Рис. Геннадия Ахмедова

— Тебе бы бороду и лысину… — сказал вдруг Игорь, приглядываясь ко мне. Сказал всерьез, как будто увидел меня впервые.

Мы учились с ним тогда в восьмом классе, а дружили с седьмого. При чем тут борода? Но это не был розыгрыш. Игорь несколько дней помалкивал, задумывался и даже не передавал исподтишка по рядам своих рисуночков. На них был обычно нарисован я за рулем в автомобиле, а рядом со мной какая-нибудь наша одноклассница. Я не мечтал об автомобилях, о них

мечтал сам Игорь. Но одноклассницу он выбирал именно ту, на которую я заглядывался сегодня. Так коварно он пользовался моим доверием. Я же, стоило мне изменить свою привязанность, немедленно делился с Игорем, и вскоре по классу переползал под партами из рук в руки очередной его рисуночек, рядом со мной в автомобиле уже сидела она, сегодняшняя. Порой мое непостоянство приводило к тому, что Игорь изготовлял за неделю несколько рисуночков или, когда рисуночек возвращался к нему, менял подпись под девушкой, стирал фамилию Брусникина и надписывал Лапкина. На рисуночке же не менял ничего, все они были точными копиями. Как-то Игорь срисовал понравившийся ему сюжет — парень и девушка за ветровым стеклом автомобиля — из иностранного журнала и выполнял его потом все быстрее и быстрее. Под парнем иногда он ставил фамилии других ребят, те стирали свои и вписывали соседей. Девчата же хоть и смущались, краснели, но никогда не отказывались от места в автомобиле.

Странно, что вся эта автомобильная лихорадка разыгрывалась в нашем классе задолго до тех времен, когда о личном автомобиле стали думать реально, — в 30-х годах. Из-за Игоря. Похоже, что он знал не только о моих лысине и бороде, но и о многом другом, что будет. Признался Игорь мне, как я теперь понимаю, далеко не во всем с ним случившемся в том странном однодневном доме отдыха…

Естественно, что, услышав его загадочные слова о лысине и бороде, я не отставал от него до тех пор, пока он не взял с меня клятву держать все в тайне. Я поклялся, предвкушая, как при первом же удобном случае выдам Игорев секрет и отплачу ему за рисуночки.

Но надежды мои не оправдались, разглашать получалось нечего, вернее — слишком сложно для меня и для наших сверстников, чтобы перевести это в розыгрыш или в тот же летучий рисуночек. В доме отдыха, куда Игорь попал по путевке, встретил он мужчину — точь-в-точь я, только лет на тридцать старше, с бородой и лысиной. Тот все приглядывался к нему, Игорю, словно хотел вступить в разговор, и будто и он и Игорь почувствовали одновременно, что нельзя им разговаривать друг с другом, почему-то невозможно, может быть, опасно. Бородатый потом лишь издали присматривался к Игорю. Он не был однодневником, потому что вечером не сел в автобус, который увозил Игоря.

Про путевку Игорь рассказывал так, что выходило, либо он и сам не знал, откуда она оказалась у него, либо недоговаривал. Возможно, что до меня не все доходило или не могло дойти, или не запомнилось. Особенно Игорь удивился, что дом отдыха был

весь из стекла и алюминия, а тогда только одно такое здание стояло в Москве — Наркомлегпром на улице Кирова. А уж об автомобилях я наслушался больше всего. Игорь рассказывал, что на автомобилях приезжали в дом отдыха многие, по двое, по трое, семьями и по одному. Оставляли автомобили на асфальтированной площадке и уходили все вместе, а не так, как было принято, чтобы шофер оставался за рулем. Словом, любимый Игорев сюжет — мечта наяву. Семейный автомобиль. Автомобиль для парня с девушкой — были там и такие пары. Когда же я спросил его о марках автомобилей, он, знаток и любитель, чем и славился в классе, не ответил: мне показалось, он не ждал такого вопроса.

Может быть. Игорь не хотел ничего утаивать, а сам еще не разобрался в увиденном. Со временем в повторных разговорах наверняка я узнал бы и понял больше. Но в те дни мы всем классом проходили комиссию спецнабора в военные авиационные училища. Кто засыпался по медицинской, кто по мандатной части. Прошел один Игорь.

Прислал мне свою фотографию в матросской форме — попал он в морскую авиацию. Школьник и летчик… Какая уж переписка — заглохла вскоре. Осталась недосказанность. Потом забылась накрепко — хватало и без школьных историй материала для размышлений, для переживаний.

Через тридцать лет, когда я вспомнил эту недосказанность, у меня были и лысина и борода. Вспомнил не сразу, не в нужный момент, а спустя некоторое время. Но не исключено, пожалуй, что в нужный-то момент воспоминание оказалось бы совсем ни к месту и могло вызвать несчастье. Хотя, думается мне, я все равно не преодолел бы возникший барьер, не решился, не хватило бы сил, может быть.

Отдыхали мы тогда с женой в пансионате, недавно выстроенной стекляшке на берегу водохранилища вблизи Чиверевского залива. Прошло уже полсрока. Мы катались на лыжах, чуть не каждый вечер ходили в кино, а я успевал еще между этими занятиями сыграть на бильярде и в пинг-понг. Однажды в вестибюле пансионата, когда мы шли из столовой с завтрака, я увидел Игоря.

Конечно, я сразу же стал себя разуверять, что это случайно похожий на моего школьного приятеля парень, в крайнем случае родственник, сын наконец. И если даже сын, что мне до этого? Нет, я не вспомнил ничего, ни в первый момент, ни в течение всего дня, когда он то и дело попадался мне на глаза. Вспомнил через час после завершающей встречи с ним — мы возвращались из леса на лыжах, а он промелькнул в окне автобуса, увозящего

на станцию однодневных отдыхающих.

После того как я вспомнил, мне не удается думать о том дне так туманно. Туман, сомнения соскочили. Я не могу снова уверять себя, что встретил не Игоря. Не говоря уже о полном сходстве лица, фигуры (я нашел дома фотографии), совпадала одежда. Хотя и сейчас можно встретить похоже одетого демобилизованного моряка — бушлат, под ним ковбойка и расклешенные брюки. Но Игорь-то носил перешитый бушлат старшего брата и выглядел в свои семнадцать, конечно, моложе нынешнего демобилизованного моряка. Стрижка — полька; разве в моде сейчас стриженые затылки? А самое главное — он удивлялся при каждой встрече не меньше меня и задумывался. Когда же я решился наконец подойти к нему и спросить, не Сладков ли он по фамилии, не родственник ли Игоря Сладкова, мы оба наскочили на барьер. Я отчетливо почувствовал, что не могу, что и не надо, что нельзя подходить ближе. Разминулись мы оба с неловкими выкрутасами и страхом. Кроме того, я наблюдал, с каким недоумением и интересом он рассматривал сквозь стеклянную стенку вестибюля подкатывающие к пансионату «Жигули» и их владельцев.

Почему я не вспомнил про лысину и бороду на несколько часов раньше? Или барьер стоял и в памяти?

Я чувствую, как он поднимается каждый раз, когда я в связи с этой историей стараюсь логически осмыслять возможность завихрений и петель во временном потоке, и у меня возникает ощущение, что не успеваю всего лишь на долю мгновения, чтобы заглянуть за него.

Альберт Валентинов
РАЗОРВАТЬ ЦЕПЬ

Мохнатые языки солнца, высовываясь из-за холма, шарили по пронзительной глади небосклона, будто слизывали остатки не успевших растаять за ночь облаков. Совсем как на Меркурии, только там нет неба. И солнышко там пожалче. Впрочем, и это дай бог… Даже не верится, что не так давно закончилось пятое оледенение.

Андрей нерешительно повертел в руках широкополую войлочную шляпу и со вздохом водрузил ее на макушку. Это повторялось каждое утро как некий ритуал. Все его существо сопротивлялось, но без шляпы наверняка схлопочешь солнечный удар. Даже за те десять минут, которые надо затратить, чтобы принести воду. Собственно, он ничего не имел против этого головного убора, кроме одного: очень уж он не гармонировал со всем остальным. Как, скажем, водолазный шлем с дипломатическим фраком. Такие курортные войлочные покрышки со свисающими полями появятся только через

пятьдесят тысяч лет. Незадолго до того, когда на месте этих холмов и ручья раскинутся тридцатиэтажные, сверкающие стеклянными боками здания института. Удивительное дело: все здесь казалось к месту, все вписывалось в исторический период — и машина, и панцирь, а вот шляпа не вписывалась. Она из другой эпохи. Он зажмурился и с наслаждением представил теплое ласковое море и белый, будто просеянный через самое мелкое сито песок. А на нем тела. Шеренгами. Все коричневые и все в шляпах… Представил, хотя и знал, что этого делать не следует. Челюсти свело сладкой судорогой, и что-то в душе дрогнуло. Поспешно открыв глаза, он помотал головой и решительно замкнул магнитную застежку воротника. Ну вот, теперь он в полной готовности, можно выходить. Ах да, синие очки и воздушные фильтры…

Солнце уже выкатилось из-за холмов. Теперь это был обычный ослепительный шар, совсем как у нас на экваторе. Не жарче. А если и жарче, то чуть-чуть. Жаль только, что Андрей никогда не был на экваторе и не мог сравнить. На Меркурии был, а вот на экваторе не пришлось. Теоретически за пятьдесят тысяч лет солнце не должно измениться, для него это ничтожно малый срок. Как для нас пять минут. Но теорию создавали в уютных прохладных кабинетах… Андрей чертыхнулся и вышел из машины.

Панцирь плотно обтягивал тело, заставляя держаться прямо, развернув плечи, как на параде. Только вот походка становится какая-то чудная — с подпрыгиванием. Черт бы побрал того инженера, который врастил пружинки в ткань под коленками! Конечно, инженер все рассчитал, но попробуй побегай в такой одежке! Это неважно, что здесь бегать не надо. Андрей повернулся к солнцу спиной и посмотрел на свою тень. Ничего тень, мужественная. Широкие плечи, узкие бедра, длинные ноги… Спортсмен. И, говорят, с задатками. Только вот скорчер на правом боку нарушает симметрию. Он улыбнулся, вытащил из тамбура пузатую десятилитровую флягу и поволок ее к ручью.

Днем холмы — каменистые, лишенные растительности — имели тот неопределенный цвет, который называют песочным. Но сейчас, под утренним солнцем, они были ярко-розовыми, и очертания их слегка размывались, словно холмы раскалились и медленно оплывали от вершины к подножию. Их невысокая гряда загораживала первобытный лес, не давая ему прорваться дальше. Справа холмы загибались широким полукругом, открывая ровную, чуть поднимавшуюся к югу равнину, по которой струился ручей.

Вода здесь великолепная. Что называется, хрустальная.

Только вот микроорганизмы… Но для этого существуют таблетки. Две штуки на флягу. Говорят, вкус они не портят.

Андрей присел на корточки и положил флягу на желтое дно, придерживая ее пальцами, чтобы не всплыла. Вода с бульканьем стала заходить в горловину. Справа были кусты, и слева были кусты, но за четыре дня он отучился их бояться. Днем из кустов никто не показывался — ни пещерные медведи, ни волки, ни саблезубые тигры, чей громадный след он обнаружил прямо перед тамбуром на следующий день после прибытия. Раньше он почему-то думал, что к этому периоду махайроды уже вымерли. Серьезный был след. Окружность больше головы. Интересно, каков же сам тигр? К счастью, зоологи по ископаемым остаткам определили, что саблезубые охотились по ночам, днем они почивали. Правда, Барсик дома днем кушает. Но Барсик — отдаленный потомок, развращенный цивилизацией…

А вообще здесь все чужое, все опасное. Даже воздух, даже солнце, даже трава. Хотя и трава, и кусты, и деревья уже наши, современные. Ведь всего-то пятьдесят тысяч лет! Каково же тем, кто дальше — за сто миллионов? Саблезубый — это все-таки млекопитающее свое, понятное. И то, что природа обделила его хвостом, оставив нелепый обрубок, представляет этого хищника в каком-то даже легкомысленном, несерьезном свете. А динозавры? Так называемые пресмыкающиеся, восемь метров в высоту? Тиранозавр-рекс, например. Его засняла на кинопленку предыдущая партия… Андрей невольно поежился, вскинул флягу на плечо и чуть ли не бегом потащил ее в машину.

Теперь сутки он будет сидеть взаперти, в крохотной каютке с поляризованными стенами. Хотя машина превосходит размерами трехэтажный дом, но человеку в ней отводится весьма скромная площадь: все остальное пространство занимает генератор. Снаружи стены серые, непрозрачные, но, находясь в каюте, он видит все, что делается вокруг. Спасибо, хоть об этом позаботились! Иначе тут вообще можно сойти с ума. Он и так уже два дня не притрагивался к книгам, которые самонадеянно захватил с собой в прошлое. Захватил, несмотря на скептические улыбки более опытных товарищей. В первый день он только смотрел. И через стены и снаружи, не отходя от машины. И все время ждал, что вот-вот появятся кроманьонцы. Ждал, чтобы рассмотреть их с тем острым любопытством, с каким рассматривают неожиданно обнаруженный портрет своего отдаленного предка. Выискивают, так сказать, фамильные черты… Потом два дня читал запоем. Вчера он просто угрюмо валялся на койке, заставляя себя не глядеть на часы. Он и без того ощущал каждую из бесконечных, будто застывших секунд.

Ничего не поделаешь — такая работа. Искус, который проходит каждый, прежде чем попадает в головную группу. Машины времени еще очень несовершенны. Они могут переноситься только в прошлое. Будущее пока скрыто от людей. Жалко: в будущем интереснее. Но, может, в этом определенный смысл? Нельзя заглядывать в будущее, не изучив досконально своего прошлого. Не вскрыв подспудную логику событий, не проанализировав всех ошибок. Да, наверное, в этом главное. Человечество должно понять свои прошлые ошибки, прежде чем являться к потомкам. И до малейших деталей знать свою историю. Для этого и уходит в прошлое цепочка машин-ретрансляторов, как столбы на шоссе. Сейчас эта цепочка насчитывает две тысячи «столбов», где каждый отстоит от соседей на пятьдесят тысяч лет. Самый последний — «стомиллионник» — в мезозое. И в каждом ретрансляторе — человек. Дежурный. Машины могут уйти в прошлое и вернуться только вместе. Сразу. Одновременно, Если с одной что-либо случится — останутся все. Это как цепь, которая рассыпается с потерей любого звена. Командуют те, кто «внизу». Остальные ждут. Ждут и не отлучаются. От каждого зависит существование остальных. Когда-нибудь это станет излишним. Это когда ретрансляторы усовершенствуют настолько, что суммарная вероятность аварии в сложнейших цепях управления всех двух тысяч машин станет меньше одной миллионной. Пока что она больше. А одна миллионная — это риск при дежурных. Человек с его чувством ответственности оказывается надежнее машины. Поэтому ты вынужден ждать, пока кто-то там, за «стомиллионником», выясняет, отчего вымерли динозавры. Ждать все двадцать четыре часа в сутки, позволяя себе только утреннюю десятиминутную пробежку за водой. Это тоже риск — вылазка за водой. Но риск необходимый. Если ты не будешь ждать этих десяти минут, ждать целые сутки, твоя «надежность» резко упадет. И ты ждешь, стиснув зубы, хотя неизвестно, сколько еще продлится это ожидание. Каждая вылазка рассчитана на две недели, если… если не произойдет непредвиденное. Тогда оглушительно завоет сирена… Эти тиранозавры, судя по фильму, были отчаянными задирами. Да и не только они. В мезозое полно всякой гадости — и летающей, и прыгающей, и плавающей.

Андрей лежал на узкой жесткой койке, закинув левую руку под голову. Правая свесилась через край, прижавшись ладонью к прохладному Полу. Наступал вечер. Он это понял без часов, хотя вокруг было еще совсем светло. Дневная жара спала. Кондиционер под потолком перестал жужжать и заработал бесшумно, в полсилы. Еще несколько часов, и пятые сутки

дежурства уйдут в прошлое. Смешно: в прошлое.

Дома сейчас, наверное, тоже вечер. Мать с отцом вернулись с работы, переоделись, забежали в сампит и… Нет, никуда они не пошли. Ни на театральную арену, ни в вечерний парк, ни на спортивные зрелища. Сидят в сампите над нетронутыми блюдами и переживают. И мама опять твердит, что у нее предчувствие… Чудаки! Путешествия во времени уже давно обходятся без жертв. Было, конечно, когда-то… Но тогда только нащупывалась конструкция машины, разрабатывались правила поведения. А сейчас машины безотказны. И люди… Они еще безотказнее. На второй «пятидесятке», у неандертальцев, дежурит Ленка, отличный парень. Это ей он сказал перед отправлением, что она отличный парень, и Ленка не протестовала. Только усмехнулась загадочно, как она одна умеет… И каждый раз, когда он бежит за водой, у него сжимается сердце от страха, потому что в это время Ленка тоже бежит с флягой. И его нет рядом, чтобы защитить…

Он вздрогнул и вскочил на ноги. На него глядела Лена. Нет, конечно, она глядела не на него. Она только скользнула измученным безнадежным взглядом по громадному серому кубу машины, и именно этот взгляд Андрей успел поймать. И конечно, это была не Лена. Это была кроманьонка. Так сказать, прапрапра…

Удивительно, что она не испугалась машины. Впрочем, вовсе не удивительно. Первобытные люди не всегда умели строить цепь логических заключений и не боялись неподвижных предметов. Неподвижное не опасно. Они еще очень плохо знали свой мир и потому безоговорочно принимали все, что оказывалось в поле их зрения. Поэтому двенадцатиметровая махина вовсе не показалась кроманьонке чем-то удивительным. Она просто не знала, что в ее времени таких сооружений быть не должно.

Ей было семнадцать, и она была такая же стройная, высокая, как Лена. Даже прически у них одинаковые — волосы свободно распущены по плечам. Только у Лены это называется укладкой. И одета кроманьонка была, разумеется, не в панцирь, а в пятнистую звериную шкуру, совершенно не закрывающую руки и ноги. Худенькие, но крепкие руки, длинные ноги. А все же лицо другое, не как у Лены, хоть и очень похоже. Впалые щеки, огромные глаза.

Андрей затряс головой. Болван, о чем я думаю? Это же человек, самый настоящий. Что в ней первобытного? Страх в глазах, даже не страх — отчаяние. Так вот какие они, кроманьонцы! Неведомо откуда взявшиеся гомо сапиенс, люди современного типа, совершенно необъяснимо, всего за пятнадцать тысяч лет вытеснившие пропавших без вести неандертальцев. Не

предок человека — человек.

Девушка остановилась у самой машины. Очевидно, она прошла долгий путь, ноги ее подкашивались, в лице не было ни кровинки.

А ведь она погибнет, вдруг понял Андрей. Должна погибнуть. Первобытный человек не мог выжить в одиночку. Очевидно, заблудилась, отстала от племени или была изгнана за какую-нибудь провинность. В первобыте, рассказывали ребята из прошлых экспедиций, насчет дисциплины было сурово. Изгнание еще легкая мера. А может, напали враги и она кинулась прочь без памяти?..

Ах, черт побери! Безоружная, беспомощная, ни от зверей отбиться, ни огня развести. А ведь могла бы стать чьим-то предком. Может быть, даже моим… или Лены. Недаром она так похожа на нее. Взять бы ее с собой, но нельзя. Не имею права. А жаль. Представляю, какие глаза сделаются у ребят! Вот это было бы вмешательство так вмешательство! Только меня мигом турнут из института. А ее… что ж, ее оставят. Не отправлять же обратно на гибель. Научится читать, привыкнет к нашей кухне, полюбит стереовизор, все вечера будет перед экраном просиживать. Выдержит ли изобилие информации? Нет, к нам ее нельзя. Здесь бы чем-нибудь помочь, но чем? Скорчер же ей не дашь, а другого оружия у меня нет, даже перочинного ножа. И огня нет. Пища подогревается в инфракрасной духовке. Разве что затащить ее в машину и хотя бы накормить?

Это было безумием. Это было грубейшим нарушением правил путешествия во времени, но Андрей двинулся в тамбур. Он ничего не мог поделать с собой. Вид этого измученного, истомленного отчаянием, голодом и усталостью существа всколыхнул и поднял из самых потаенных уголков души что-то такое, чему он не мог даже подобрать названия. Какая-то волна захлестнула его.

Внезапно, уловив за спиной легкое движение, девушка резко обернулась и пронзительно вскрикнула. Вскрик оборвался на самой последней ноте, и девушка, запрокинув голову, привалилась к машине и стала медленно сползать по ее стенке. Она была еще жива, но она была уже мертва, потому что из кустов у ручья к ней направлялась смерть. Нет, зоологи ошиблись, она не спала днем — страшная смерть, саблезубая, со струящимся меж клыками волнистым языком, неторопливо надвигающаяся на пружинистых лапах, возбужденно подергивающая обрубком волосатого хвоста. И Андрея охватил восторг.

Это удача! Ах, какая это великолепная удача! Он торопливо

расстегнул кобуру скорчера, автоматическим движением руки ввел в ноздри фильтры. «Я подшибу его на лету в прыжке. Тигр всегда прыгает на жертву. А потом затащу ее сюда и накормлю. И никто ничего не скажет, не посмеет сказать. Потому что я спасу жизнь человека. Разве нас с детства не учили, что самое ценное — это жизнь человека? И пусть это будет вмешательством, но меня все поймут, потому что каждый сделал бы то же самое».

Махайрод был уже в двадцати метрах. Андрей толкнул створку тамбура… в этот миг взвыла сирена.

Это было невозможно, невероятно, но это случилось. Андрей замер, будто натолкнулся на глухую стену. Красная сигнальная лампочка панически мигала над рычагом. Это не обычное предупреждение к возвращению, это сигнал к бегству. Сирена будет выть, пока во всех двух тысячах машин дежурные не нажмут на красные рукоятки и генераторы не закрутятся бешеными силовыми смерчами, сминая время. Значит, там, «внизу», что-то случилось и людям приходится спасаться. Может, они даже пустили в дело скорчеры. Это разрешается как исключение, когда ничто другое уже не может спасти. Потому что это вмешательство. И хотя его последствия не скажутся в будущем, «рассосутся» во времени, как затухает волна от брошенного в озеро камня, не достигнув берега, все-таки это вмешательство.

Пять секунд дается на то, чтобы добежать до рычага. Значит, остальные 1999 генераторов вот-вот заработают. И только его машина окажется вне цепи… Андрей повернулся и бросился в каюту. Ладонь натренированно легла на красную рукоять… но не нажала на нее.

Эта девушка… Она не упала лишь потому, что прислонилась к машине.

Он обязан выполнить свой долг перед людьми, которые ждут сейчас в машинах… Но она тоже человек. Слабая тростинка на берегу необъятной реки жизни, защищенная только искоркой разума. И никогда не сумеет простить он себе, что дал погибнуть человеку. И тут внезапная мысль поразила его — Лена!

Не может такое сходство быть случайным…

Так не оборвется ли к тому же с гибелью этой кроманьонки целая эволюционная цепочка?

…Он рванул рычаг и ринулся из машины. В его распоряжении было, наверное, полсекунды. И хотя он знал, что все кончено, что успеть невозможно, он действовал так, будто намеревался успеть. Выстрел дробным эхом запрыгал по холмам. Зверь перевернулся в воздухе и шмякнулся рядом, раскинув лапы. И в этот момент кроманьонка начала падать, потому что опора исчезла. Андрей еле успел подхватить ее и заставил себя

обернуться. Заставил, хотя безошибочно знал, что увидит. Но он обернулся и увидел, что машины нет.

И никаких следов, даже трава не примята.

Разумеется, его будут искать. Но машина редко попадает дважды в одну точку времени. Они разойдутся — на сутки, на час, на минуту…

И все же их найдут, не могут не найти.

На его руке лежала кроманьонка.

До ближайшей цивилизации сорок тысяч лет. Есть только они двое, и еще саблезубые, мамонты, медведи… И девяносто девять зарядов в магазине скорчера. Было сто…

Он думал только об этих девяноста девяти зарядах. Намеренно сузил мысли вокруг них. В этом сейчас было спасение. Позже придет отчаяние, наконец, фатальное успокоение, когда смиряешься с последствиями своих поступков.

Он заметил, что девушка очнулась. Она переводила взгляд с него на мертвого зверя и опять на него, и страх исчезал из ее глаз. Он был человек, и он спас ее. Потом она встала на ноги и бел страха взглянула на него. Андрей смутился. Он расстегнул магнитную застежку шлема и выбросил из ноздрей фильтры.

— Ничего, — сказал он, засовывая скорчер в кобуру. — Ничего. Главное, что цепь не разорвана. А так все в порядке. Вода есть, пища есть, — он ткнул носком тушу зверя, — огонь добудем трением, лук изобретем… Только вот костюмчик не подходит. Не из этой эпохи. Пожалуй, шкура будет мне больше к лицу.

Он стал искать подходящий кусок кремня, чтобы сделать из него нож.

1977, № 4

Василий Захарченко
ПРЕДЧУВСТВИЕ ВРЕМЕНИ

К выходу в свет трехтомника избранных произведений И. Ефремова [1]

Большое видится на расстоянии… Сквозь полупрозрачную толщу времени, все более отдаляясь от событий, мы в состоянии разглядеть только могучее, только великое. Случайности, мелочи тают на расстоянии, теряются в зрительной нашей памяти, уходят в небытие. Об этом мы задумываемся, раскрыв страницы трехтомника Ивана Ефремова.

Семь лет тому назад во Франции вышла 10-томная энциклопедия «Шедевры мировой фантастики». Знаменательная подборка самых известных книг научной фантастики открывается небольшим по объему, но беспредельно весомым благодаря своей литературной уплотненности томом «Туманность Андромеды», принадлежащим перу советского фантаста Ивана Ефремова.

Книга о коммунизме открывает мировую энциклопедию фантастики — факт еще небывалый…

Почему же это произошло!

Впервые это произведение появилось на страницах нашего журнала и на протяжении целого года цепко держало в своих руках миллионы и миллионы молодых читателей. Это было в 1957 году, в том самом году, когда первый искусственный спутник вышел в космос, потрясая мир своей несложной мелодией, звучавшей как торжественный гимн человеческому разуму.

И это знаменательно: два одногодка в области освоения космоса и в области литературного утверждения человеческого общества завтрашнего дня. Сочетание этих двух событий заставило пересмотреть отношение к жанру.

«Туманность Андромеды» стала новым словом в мировой научно-фантастической литературе послевоенного периода. Остросоциальный роман, сочетавший в себе диалектику логики с раскованностью воображения автора, проложил путь советской научно-фантастической литературе, являя собою наиболее жизненный пример творческого разговора о завтрашнем дне.

Сегодня многие и во многих странах мира вещают о будущем. Пророки без глубоких знаний строят картины завтрашнего дня, как бесплотный полет воображения, отражающий неотчетливость прозрения своих творцов. Чаще всего это глубоко пессимистические картины гибели мира, вырождения человечества, враждебное столкновение с цивилизациями других миров.

Технократы, лишенные социальной целеустремленности и понимания процессов, управляющих сегодня развитием человечества, рисуют безотрадные картины подавления человеческого разума разумом электронных машин. Пророчат гибель человечества от порожденного им мира машин. Прославляют торжество бездушного мира, в котором людям отпущена печальная свобода нажимать кнопки и приспосабливаться к механистической действительности без любви, радости и красоты.

Невольно приходят на ум безжалостные слова американского социолога Стивена Крайса. Он пишет: «Чем больше спутников, лазеров, автомобилей, тем меньше дружеских жестов, поцелуев и «люблю» лунными ночами. Мир пожирает себя изнутри подобно мифическому чудищу. С равнинных дорог он давно вознесся к высокогорному шоссе, наращивая скорость, не замечая, как заносит его на поворотах. Колеса уже повисли над пропастью. Еще мгновенье — и мы рухнем вниз — в объятия химер Хиросимы».

И вдруг в этом потоке научно-фантастической литературы

отчаяния и неверия появляется книга, пронизанная солнечным светом оптимизма, веры в человека, уверенности в завтрашнем дне. Ее написал не пророк. Страницы «Туманности Андромеды» начертаны мудрецом, стоящим на вершине человеческих знаний. Знаний не только в области точных наук, биологии и психологии, палеонтологии и генетики. Книга написана человеком, отлично разбирающимся в социальных и общественных знаниях, в процессах, руководящих развитием человеческого общества на его пути в будущее.

Профессор Иван Антонович Ефремов — крупнейший специалист в области палеонтологии, ученый, сумевший сочетать в себе новаторство в области своей основной профессии с новаторством в одной из самых распространенных литератур — в научной фантастике.

Ефремов не единственный перебежчик из науки в мир фантастики. Такими были К. Э. Циолковский и В. А. Обручев, сумевшие в дерзкой литературной форме передать свои представления о большой науке. Такими же «десантниками» в литературу стали Норберт Винер, Фред Хойл, Отто Фриш, Лео Сциллард, Артур Кларк…

Но отличие Ефремова от этих уважаемых ученых в том и заключалось, что Иван Антонович всегда оставался, даже в невероятных ситуациях своих литературно-фантастических произведений, диалектиком и историком, умеющим проложить пути из прошлого в завтра.

Даже впервые разработанная им наука тафономия, за создание которой он получил Государственную премию, стала своеобразной летописью геологии — законом захоронения глубинного прошлого, так необходимого для понимания сегодняшнего и завтрашнего дня.

Невольно встает вопрос: откуда пришел в литературу Ефремов? По каким ступеням поднимался он до своих высших достижений — зримых картин коммунистического будущего?

Может быть, у людей, кропотливо изучающих сегодня творчество Ефремова, могут быть другие концепции, но я лично вижу три ступени к вершине писательского откровения.

До этих ступеней был могучий разгон — великанская проба пера. И. А. Ефремов создает венок научно-популярных рассказов и повестей, в которых запросто «дарит направо и налево» новые идеи и предвидения. Советскому ученому Денисюку он подсказывает в одном из своих рассказов идею голографии. Открытие якутских алмазов писатель-ученый предвидит в другом произведении. Щедро разбрасывая идеи, Ефремов оттачивает свое литературное перо, набирая сюжеты из жизненной практики

геолога, моряка, участника гражданской войны, мечтателя. В сфере его видения и исследования всегда находится прошлое, настоящее — и смелый скачок в будущее.

Вот почему первой ступенью восхождения писателя я считаю роман о далеком прошлом — «Таис Афинская». Вышедший последним в 1973 году, он занимает место первой ступени в освоении глубин человеческой культуры. «Таис Афинская» — это мост от Прекрасного в прошлом к Прекрасному в будущем. Роман времен Александра Македонского, написанный с исключительной эрудицией и смелостью, воспринимается нами именно так на широком пути писателя к определению красоты как высшей целесообразности. А ведь Коммунизм и есть в первую очередь прекрасное…

Найти истоки Красоты в далеком прошлом, осмыслить их, перенести в настоящее — вот сверхзадача, которую поставил перед собой Ефремов в этом произведении.

И тогда перед нашими глазами вырастает вторая ступень писателя — его роман «Лезвие бритвы». Роман, несущий на себе нагрузку энциклопедических знаний, огромное количество разнообразнейших сведений, он тоже непрерывно «держит» главное направление. Это анализ современного человека, оценка его резервов и возможностей — всего того, что так необходимо для воспитания человека будущего. Опять перед автором встает сверхзадача: анализ красоты, анализ прекрасного как основы развития человека в коммунистическом завтра.

И вот последняя ступень вершины — «Туманность Андромеды». Роман посвящен описанию высокоразвитого коммунистического общества, охватывающего все человечество. Перед нашими глазами все сферы общественной жизни: наука, техника, философия, искусство, мораль.

Когда-то Маркс говорил о том, что Коммунизм равен гуманизму. Эта формула лежит в основе научно-фантастического романа Ефремова. Она охватывает все стороны формирования нового человека, воспитания его. Перед нашими глазами встает труд будущего, как абсолютная потребность здорового человека, доставляющая ему наслаждение. Автор выступает против «машинного рая». Он вводит читателя в мир, в котором достижения научно-технической революции сочетаются с яркими преимуществами социалистического общества, Общества, в котором насыщение мира красотой является естественной потребностью.

В противовес многим предсказателям будущего Иван Ефремов пронизал свое произведение историческим оптимизмом. «Туманность Андромеды» голосует против пессимизма

фантастики Герберта Уэллса, наиболее четко развернутого в его романе «Машина времени». Советский писатель как бы выступает против критической оценки будущего, даваемой английским фантастом Брайном Олдисом. Романист не может согласиться и с автором «Космической одиссеи 2001 года» Артуром Кларком. У талантливого английского фантаста, завоевавшего многих поклонников во всех концах мира своим романом и его экранизацией, «высший космический разум не имеет вещественной оболочки и представляет собою чистую энергетическую «субстанцию», свободно перемещающуюся в пространстве».

Нет, в представлении Ефремова разум неотрывен от человека — высшего создания природы. И даже облик инопланетянина рисуется писателем, исходя из его человеческих представлений о вместилище разума.

«Формы человека, его облик как мыслящего животного, не случаен, он наиболее соответствует организму, обладающему огромным мыслящим мозгом.

Между враждебными жизни силами космоса есть лишь узкие коридоры, которые использует жизнь, и эти коридоры строго определяют ее облик.

Поэтому всякое другое мыслящее существо должно обладать многими чертами строения, сходными с человеческими, особенно в черепе».

Не мыслящие растения, не мудрая плесень, не разум океанов, о которых пытаются рассказать нам многие фантасты, а космический разум, носителями которого являются человек и человекоподобные инопланетяне, — вот кредо Ивана Ефремова.

И связь космического разума в Великом кольце Миров мыслится Ефремовым как закономерное развитие всех возможных цивилизаций бесконечной вселенной.

Эта позиция ученого, ставящего Человека в основу творчества, окончательно подчеркнута им в интервью, которое он дал в 1969 году, отвечая на вопрос: в чем главная проблема человека в будущем!

Писатель ответил: «Свобода и долг любви». И это в эпоху научно-технических откровений, в эпоху величайших социальных изменений!

Человек был и остается главным мерилом литературы завтрашнего дня.

Но предчувствие времени, блестяще раскрытое писателем в его произведениях, все-таки в какие-то моменты изменяет даже ему.

В предисловии к «Туманности Андромеды» автор пишет:

«Сначала мне казалось, что гигантские преобразования планеты и жизни, описанные в романе, не могут быть осуществлены ранее чем через три тысячи лет. Я исходил в расчетах из общей истории человечества, но не учел темпов ускорения технического прогресса и главным образом тех гигантских возможностей, практически почти беспредельного могущества, которое дает человечеству коммунистическое общество.

При доработке романа я сократил намеченный сначала срок на тысячелетие. Но запуск искусственных спутников Земли подсказал мне, что события романа могли бы совершиться еще раньше.

Поэтому все определенные даты в «Туманности Андромеды» изменены на такие, в которые сам читатель вложит свое понимание и предчувствие времени».

В этом году покойному писателю исполнилось бы 70 лет. Он ушел полный сил, замыслов. На его столе незавершенные произведения. Он унес с собою грандиозные планы, которым, увы, не суждено воплотиться.

Но сегодня мы можем смело говорить о «школе Ефремова». О его последователях, использующих творческие методы зрелого учителя и наставника.

Ведь не зря выдающийся советский писатель и фантаст А. Н. Толстой перед смертью, уже находясь в больнице, прочитав первые рассказы Ефремова, вызвал его к себе, заметив грандиозный талант и эрудицию молодого писателя. Он как бы передал творческую эстафету Ивану Ефремову — эстафету от Аэлиты, инженера Гарина и других толстовских персонажей.

Сегодня Ефремов передает эстафету творческой молодежи, исповедующей яркие принципы советского классика. Эти принципы мы замечаем в творчестве москвичей Дмитрия Де-Спиллера, Михаила Пухова и многих других. Мы видим эти принципы в творчестве молодых сибиряков Сергея Павлова, Вячеслава Назарова, Геннадия Корпунина и многих, многих других.

Ефремовская школа прочно вошла в жизнь. Она существует, она будет укореняться еще больше. Она становится еще более заметной на расстоянии.

Предчувствие времени не может нам изменить, ибо это предчувствие строящегося нашими руками коммунистического общества.

Владимир Щербаков
ЖЕНЩИНА С ЛАНДЫШАМИ

Научно-фантастический рассказ

За четыре часа Валентина стала привыкать и к голосам, и к молчанию заповедного леса. Она вспомнила, как пробралась сюда в заповедник, и почувствовала, что краснеет. Щеки ее запылали. Как девчонка, подумала она, и не оттого стыдно, что ландышей нарвала… а отчего?

Она остановилась в раздумье. Заколола волосы. Сдула с блузки выцветший прошлогодний лист. Ландыши, цветок за цветком, ссыпала в кожаную сумочку, осторожно прикрыла ее и щелкнула запором. Минутная передышка. Вверху, высоко-высоко, прошелся над кронами ветер. Шелест. Снова легкий порыв — и где-то потревоженное дерево отозвалось скрипом. Взволнованно вскрикнула птица. И снова тишь.

Может быть, ей лишь казалось, что ему нравились ландыши? Все равно, подумала она, там-то их нет совсем. Она редко задумывалась всерьез о том, что было там. Впрочем, сегодня он

расскажет ей. И она увидит ту далекую реальность глазами сына.

«Как это называется?.. — припоминала она. — Трансгрессия, нуль-переход?» Именно сегодня, ровно в двадцать часов, ее сын сможет ненадолго появиться дома. Впервые за три года. Потом она увидит его снова лишь спустя пять лет, конечно, ее об этом предупредили заранее.

Разве это не чудо? Их поочередно переносят на Землю. Пусть только на два часа, раз в несколько лет, сегодня это произойдет! Можно ли мечтать о лучшем подарке, чем звездное возвращение прямо домой?

…Однажды, давно, он подарил ей ослепительный букет первоцветов, и светлым майским вечером напоминали они о лесных тайнах и лунном серебре на речной воде. (Совсем не странно, что слова, изобретенные на все случаи жизни, забываются скорее.) А как там? О чем можно узнать из телесеансов?

Какая это была планета?

Лик ее бороздили песчаные дюны. Сколько ни всматривайся, ни рощи, ни поросшего кустарником склона, ни зеленеющей балки. Сухие нити желтого лишайника прятались под камнями, и пучки их были едва различимы на телеэкране. Ни птичьего гомона, ни плеска воды. Горячее зеленое солнце.

Стаи светлых ядовитых облаков носились над пустыней, цепляясь иногда за багровые пики у горизонта. Сверху, точно по невидимой трубе, устремлялись вниз потоки, взметая пыль и мелкий песок, тогда воздух мерцал и фосфоресцировал, а по равнине метались призрачные полутени. Игра зеленых лучей порождала миражи, столь же безотрадные: вверху висела опрокинутая безжизненная долина с рассекавшим ее сухим руслом умершей тысячи лет назад реки, или вдруг небо ощетинивалось острыми зубцами скал, а между ними темнели пропасти.

Закат окрашивал равнины и горы в желтый цвет: серебристый отлив делал хребты похожими на странных драконов, замерших в ожидании какого-то неведомого сигнала. Пластинки слюды, вкрапленной в камни, превращались в сверкающую чешую, скалы — в устрашающие зубцы на хребте и хвосте. Драконы, казалось, просыпались с заходом звезды, чтобы охранять несметные сокровища в недрах планеты: алмазы и золото, платину, серебро и зеленый металл алхимиков — теллур.

Малая часть спрятанных здесь кладов дала возможность построить, создать, запустить гравитационный туннель. Его невидимая колея вела к Земле. По нему бежали импульсы, обгоняя свет, — письма и телеграммы. Мезонная вспышка на

миллиардную долю секунды делала туннель похожим на ослепительный жгучий луч, пронзавший звездный купол подобно молнии. Но космический светоносный разряд во столько же раз превосходил по силе грозу, во сколько огненное тело звезды — дождевую тучу.

Говорили, что само путешествие было мгновенным: будто бы едва обозначившаяся тень столь быстро становилась реальностью здесь, на Земле, что ни один прибор не успел бы зарегистрировать скорость такого превращения.

* * *

Алый бархат древесной коры начал тускнеть. Она встрепенулась. Далеко-далеко загрохотало. Неясная тревога вернула ее к действительности. Она испугалась. Но вовсе не приближающейся грозы. Она потеряла тропинку. Теперь, когда невысоко стоявшее солнце скрылось за тучей, лес изменился до неузнаваемости. Она беспомощно оглядывала поляну, на краю которой ее настигли воспоминания о ландышах.

Над лесом туча уже развесила темные крылья.

Хлынул дождь.

У нее был зонтик. Но с ним было неудобно, кусты хлестали, сопротивлялись движению, били по зонтику; густой подлесок не пускал ее; она видела перед собой тусклое мерцание дождевых струй, тяжело бивших по ветвям, слышала, как вода хлопала по листве и ощущала ее прикосновение. Она сняла туфли, но идти стало не легче. В густом орешнике она окончательно заблудилась, вышла на поляну, просторную и незнакомую. Прислонясь к теплому, еще сухому стволу, она стояла так несколько минут, собираясь с мыслями.

Она должна выйти на узкую асфальтированную дорогу, которая делила заповедник пополам. Дальше было бы совсем (просто: по дороге она выйдет из леса и за час, от силы за полтора, доберется до дома. Она взглянула на часы. Сердце ее сжалось. Было около семи вечера. В восемь он будет ждать ее дома.

Валентина сложила ставший бесполезным зонтик и пошла напрямик, наугад. Кофта и юбка были насквозь мокрыми, она ощущала всем телом холодную упругость кустов, так мешавшую ей поскорее выбраться отсюда.

Туча обволокла небо, затянула все просветы между верхушками деревьев. Тревожно хлопали листья. Дождь лил как из ведра — шальная июньская гроза.

На крутом глинистом скате балки Валентина поскользнулась, упала. Кожаная сумочка с ландышами осталась где-то вверху. Ветви вырвали ее из рук. Опустившись на колени, она обшаривала каждый остров густой травы. Шел восьмой час. Она впервые пожалела о том, что поддалась эфемерному соблазну напомнить себе и ему о любви к лесным цветам. Ее ладони горели — здесь, в балке, трава росла высоченная, жесткая, неподатливая. К восьми она теперь никак не поспела бы домой, даже если сразу вышла бы на дорогу. Но он будет ждать ее. До десяти вечера. В десять он исчезнет, так как будто его и не было вовсе: все рассчитано до секунд.

Она подумала, что нужно успеть хотя бы к девяти. Она не сможет приготовить земляничный кисель, но баранина должна быть уже готова, во всяком случае, автоматическая печка, заботам которой она поручала мясные блюда, должна уже выключиться.

Сумочка нашлась, ее ремешок свисал с мертвого сучка. Она бы увидела ремешок раньше, если внимательнее осмотрела бы это место, а не искала на ощупь… Сегодня утром она попробовала найти цветы в городе, но, кажется, было слишком поздно: разгар июня, ландыши уже сошли. Ей сказали, что в настоящем лесу, в заповеднике, в самых тенистых и влажных местах они еще встречаются. Днем, радостная, счастливая, она решила, что только цветов не хватает, и отправилась в заповедник. Она бродила часа два, пока не нашла первый цветок с поникшей уже кистью. Потом ей повезло, и она набрела на лесной клад — пять зеленых стрелок с белоснежными колокольцами. Она загадала — выходило, что ей повезет вторично. Но другого такого места не нашлось. Кажется, она увлеклась. Но если бы Валентина не заблудилась, то даже гроза не помешала бы ей вовремя вернуться домой.

Заметно посветлело. Ливень иссякал. Место было незнакомое, открытое, вокруг кусты калины, круглые, свежие, с крепкими листьями, за ними светились стволы берез, дальше, над яркой зеленью болота, висела ряднина белесого тумана. Слева от нее пролегла просека или, быть может, заброшенная грунтовая дорога.

Едва заметная колея привела ее в низину. Впереди была такая глухомань, что у нее просто сил бы не достало пробираться вперед. Оттуда тянуло давней сыростью, холодом, растекавшимся во все стороны. Она растерянно огляделась.

Сможет ли она добраться до дому к половине десятого? Как же, подумала она, теперь доберешься… Она брела назад, к тому месту, где свернула в низину. Живо представилось, как он появился дома (в восемь!), как ждет ее. Может быть, смотрит

книги. Что он подумает?

Она залилась слезами.

Прошло еще полчаса. Впереди тянулась бесконечная березовая колоннада. Но дорога здесь казалась не такой древней, и у нее возникла надежда, что встретится кто-нибудь и скажет, куда идти. Скорей, думала она, скорей, половина девятого, можно еще успеть. Но шаги ее становились все короче. Она опустилась на мокрую траву и почувствовала, как больно закололо в груди. Все, подумала она, теперь уж все равно.

Через несколько минут она поднялась.

Далекий, нарастающий гул.

Похоже, мотороллер. С минуту она стояла как вкопанная, потом бросилась вперед, закричала.

Гул затих. Хрустнула ветка. Кто-то шел к ней. Мужчина в длинном плаще — в таком можно бродить по лесу и под дождем.

Он подал руку.

— У вас мотороллер? — спросила она. — Быстрее, прошу вас!

Она даже не стала объяснять, почему спешит, только повторяла: «Быстрее! Быстрее!»

Показалась долгожданная асфальтовая дорога; на обочине ждал мотороллер. Она примостилась на заднем сиденье. Мотор резко взял с места. Без четверти десять они ворвались в город.

Валентина всматривалась в поток машин, в огни, ползшие по проспектам, в равнодушные светофоры. Она прикрыла глаза, ей казалось, что так время идет медленнее. Она переживала и гадала — какой свет вспыхнет на перекрестке — красный или зеленый. Мотороллер миновал последний поворот. Было десять. Может быть, часы отстают, попыталась она обмануть себя. Это не удалось ей: часы, она это знала, идут точно. Речь могла идти о нескольких мгновениях. Ей не хватало целой минуты.

Она кинулась к лестнице. Так быстрее, чем если дожидаться лифта. На лестничной площадке она крикнула, чтобы он подождал, если может. Вбежала, метнулась в его комнату.

Комната была пуста.

Она бросилась на кухню, потом в свою комнату.

Она переоделась, опять прошла в его комнату и осмотрела ее. Даже записки не оставил, подумала она в смятении, как же получилось так… Ну что ж, ведь он ждал ее. Разве мог он допустить, что встреча так и не состоится? До самой последней секунды он надеялся, как и она. В пепельнице остались табачные крошки, едва заметные следы пепла. Она подошла к книжному шкафу и по закладкам и каким-то неуловимым признакам поняла, что он просматривал книги. Ни за что на свете, конечно, он не удержался бы, чтобы не заглянуть в трехтомную «Жизнь

цветов, трав и деревьев» или в любимую когда-то им «Жизнь робинзонов» — книгу до странного наивную. Она пролистала их, чтобы причаститься к настроению, владевшему им здесь всего час или два назад.

Страницы застывали в ее руках, она пробовала быть внимательной. Как хотелось оказаться в этом мире простых мыслей, затеряться, исчезнуть… Она пересекла голубую от света поляну по желтой дорожке, изображенной на картинке. Ее поджидала величественная стена леса, приветливо шумевшего. Если бы можно было снова войти в него! Если бы кто-нибудь вернул ей всего несколько часов!

Она придирчиво оглядела кухню и прихожую. Там царил идеальный порядок. Печь была теплой — так и должно быть, она оставила автомату именно такие распоряжения. Она вспомнила о ландышах, отнесла цветы в его комнату и вернулась на кухню.

Кофейник сиротливо торчал на углу стола, на другом столе сгрудились сбивалки, формы для печенья, шинковки, там же стояла малогабаритная машина-универсал, рядом с ней чудо-печь и всевозможные электрические эльфы, феи, гномы — утром она устроила настоящий парад всей этой техники, от которой понемногу без него отвыкала. Она вынула из печи жаровню с бараниной Потом бесцельно переставила глиняную миску с моченными яблоками, убрала формочку с желе, зеленый горошек, хлеб, вазочку с брусничным вареньем.

В гостиной тикали старинные часы. Близилась полночь. На стуле по-прежнему дожидалась ее картонная коробка с вязаньем. Окно было открыто. Перед уходом она закрывала его, в этом сомневаться не приходилось. В стекле отражалась матово-зеленая люстра.

Крышка пианино откинута… на ней знакомый сборник — «Этюды-картины Сергея Рахманинова». Она коснулась клавиш. Ее любимая мелодия рассыпалась, неровные шеренги нотных значков растаяли. Она обернулась. Зеленоватое пятно на стекле привлекло внимание. Ей начинало казаться, что она слышала фортепиано, когда мотороллер остановился у дома.

Можно ли быть такой невнимательной? Она упрекала себя; ее удивляли порой суждения и привязанности сына, но у него был несомненный дар — он умел верить и ждать.

Он звал ее просто Валентиной. Чаще всего так. Она представила его здесь, дома. Вещи, к которым он прикасался, рассказали о нем.

1977, № 5
Роберт Шерман Таунс
ЗАДАЧА ДЛЯ ЭММИ

Рис. Валерия Карасева

Эмми жила — мы все употребляли именно это слово — в большом помещении, служившем когда-то оружейным складом при университетской службе подготовки офицеров резерва. Стены заново покрасили в бледно-серый цвет, поставили несколько перегородок и стеклянных отсеков, но общий вид и обширные размеры старого арсенала остались неизменными. Эмми занимала в ширину почти целую стену, возвышаясь в высоту на добрых пятнадцать футов и заходя внутрь Зала, на край тяжелого ковра, более чем на двадцать футов.

Полное имя Эмми было намного длиннее: Электронный Быстродействующий Калькулятор системы Манненкера — Голмахера, модель М-7. Но те, кто работал на ней и на кого работала она, сократили длинный титул, назвав ее просто Эмми. Причем сделали это не просто для удобства, ради необходимой краткости, но и благодаря мощным флюидам яркой индивидуальности, которые наполняли пространство, непосредственно окружавшее огромный механизм.

Большинство из нас, работавших в Зале, привыкли думать об Эмми как о личности — умной, здравомыслящей, привлекательной личности. Мы беседовали с ней, одобрительно похлопывая ее после того, как она решала особенно запутанную проблему. Порой мы даже вовсе замолкали в присутствии Эмми, прислушиваясь к ее тихому жужжанию.

Главой Университетского отдела кибернетики (новая наука,

возникшая в сороковых годах с целью создания и управления подобными машинами) был коренастый, с пышной шевелюрой ученый муж, доктор Адам Голмахер. С первых же дней работы, начатой его предшественником Манненкером, он упорно расширял и совершенствовал структуру Эмми, пока она не получила всеобщее признание как самый лучший и крупнейший электронный калькулятор в стране. Эмми была, что называется, суперзвездой.

Но то преклонение, которое я, ассистент Голмахера, испытывал перед Эмми, не было знакомо старому ученому. Для него Эмми была гигантским уравнением с хорошо известными членами — миллион двести пятьдесят тысяч деталей мертвой материи, собранные вместе под его управлением и вызванные к жизни городской электросетью, чтобы выполнять математические операции, недоступные для ограниченных лимитов времени человеческой жизни. Именно это, и ничего более Доктор Голмахер знал Эмми слишком близко, чтобы быть с ней фамильярным.

Но я не участвовал в создании Эмми Когда я присоединился к работавшим в Зале, она была уже вполне завершенной машиной, безупречной по всем параметрам, великолепно снаряженной и внушительной в своем гладком стальном одеянии. Стены вокруг Эмми были снабжены остроумной системой звукоизоляции, что создавало ей превосходную рабочую обстановку.

Мне всегда нравилось это помещение, громадное и чистое, как океанский лайнер. Жалованье было невысоким, но Адам Голмахер относился к категории людей, которые вдохновляют уже одним своим присутствием. Все единодушно соглашались, что он разбирается в этой запутанной и утонченной науке лучше, чем кто-либо из всех живущих людей, и у меня имелись серьезные основания верить этому.

В своей смехотворно крошечной каморке, пустой, как обезьянья клетка, но с огромной фотографией Эйнштейна на голой стене, доктор Голмахер выносил окончательное заключение по проблемам, предназначенным для решения Эмми. Многие промышленные и научные организации обращались к нам с почтительными просьбами о помощи. Доктор Голмахер, запустив большую пятерню, словно диких зверей, в непроходимые джунгли своей серой шевелюры, рылся в этих заявках, отбрасывая большинство из них в сторону — другими словами, на пол, — сопровождая эти действия презрительными репликами вроде: «Что за вздор, дефективный ребенок мог бы решить эту задачу на кубиках за какой-нибудь час». После чего отвергнутые заявки отсылались обратно с резолюцией, напечатанной в

безапелляционной форме, как это делают редакторы во всем мире на бланках с отказом.

Но время от времени живые, как у юноши, черные глаза старого ученого жадно впивались в одну из задач. Пробираясь сквозь дебри ее предварительных условий, он находил следы какого-нибудь неуловимого вопроса, возбуждавшего его научное любопытство. В этих случаях он обычно шел навстречу просьбе. После того как клиент платил обусловленный гонорар в размере пятисот долларов за каждый час работы Эмми и не собирался (из ложной скромности, как мне казалось) в дальнейшем оспаривать предъявленный счет, доктор Голмахер назначал дополнительную плату в качестве контрибуции для науки. Таким образом, многие фабриканты пластмасс и игроки в бридж, сами того не подозревая, помогали зажигать новые звезды в небесах.

Когда наконец задача была отобрана, она попадала к математикам, или, лучше сказать, Математикам — с большой буквы. В храмовой тишине Зала, где мы заботливо прислуживали Эмми, эти двенадцать человек поистине священнодействовали. Сидя в два ряда за шестью белыми столами, склонившись над маленькими счетными машинами и океаном бумаг, одетые в белоснежные костюмы (никто в точности не знал, почему все мы носили белое), они — что-то невнятно бормотали про себя, напоминая жрецов нового логарифмического культа. У каждого из них была своя домашняя жизнь, свои родственники, и свои проблемы, и свое прошлое, индивидуальные мечты и страстные желания. Но в величественном пространстве Зала (они сидели в самом дальнем конце от Эмми), облитые солнечным светом, падавшим сквозь широкие окна, они были неразличимо похожи, словно приборы или механизмы. Они и были механизмами, приводившими в действие безграничные в своей мощи мыслительные способности Эмми.

В их функции входил перевод задач на доступный Эмми язык. Наш калькулятор, как и все прочие, пользовался двоичной системой счисления вместо десятичной. Математики кодировали данные в виде цифр и знаков на специальной ленте, которая вводилась в чрево машины. Это была наиболее трудоемкая и длительная операция в каждой задаче. Благодаря постоянным усовершенствованиям доктора Голмахера операция эта со временем становилась все менее и менее трудной, и более того — излишней. Математики, разумеется, знали об этом, и нередко можно было наблюдать, по злобному взгляду или крепкому слову, их неукротимую ненависть к гигантской машине, которая день за днем пожирала их жизни ради того, чтобы сделать эти жизни бесполезными.

Доктор Голмахер не одобрял такое очеловечивание машины, считая, что это оскорбляет его взгляды и творение его рук. Персонификация Эмми напоминала ему дешевые сенсации в воскресных газетах. Он был твердо убежден, что все репортеры — лжецы. Никто из студентов-физиков старших курсов с восторженными глазами, которых посылали нам издатели, не был мною, пропущен.

Мы держали целый штат из двух десятков человек, единственной обязанностью которых были чистка и ремонт машины. В Своих белоснежных одеяниях с головы до пят они были похожи на бранящихся кроликов. А Эмми давала немало поводов для брани, хоть и была безгласной. Мириады ее элементов требовали постоянного наблюдения, но даже при этом случались непредвиденные поломки. Были и необъяснимые поломки: все казалось нормальным и в механических сочленениях, и в электрической цепи, и все же тихое щелканье и мигающие огоньки выдавали результаты ошибочные, бессмысленные или вовсе ложные.

Программисты называли это приступами хандры старой девы. Доктор Голмахер ревел: «Посторонитесь, бездельники!» — засучивал рукава и вперял неистовый взор в какую-нибудь вполне осязаемую, но свихнувшуюся деталь. А через день или два снова приводил Эмми в образцовое рабочее состояние.

* * *

В то чудесное апрельское утро, сверкавшее серебром от прошедшего дождя, Эмми выглядела особенно хорошо и вела себя прилично. Я щелкнул выключателями, подавая питание компьютеру. Черные цилиндры, служившие Эмми оперативной памятью (для решения задачи, которой она была сейчас занята), мерно зажужжали, большая энциклопедия ее постоянного запоминающего устройства, записанная на пластмассовых дисках, пришла в боевую готовность. Я не спеша ввел в машину информацию по комплексной проблеме для Среднезападного авиационного завода. Эмми должна была рассмотреть несколько вариантов условий, взвесить их и выбрать наилучший — иными словами, самый дешевый и эффективный. Окончательный ответ Эмми печатала синими буквами на своей пишущей машинке. Затем ее ответ, переведенный на язык практических терминов, отправлялся авиазаводчику в пакете — этакое послание от оракула, которое заказчик принимал с чувством священного трепета.

За широкими окнами распускался почками университетский городок. Дурашливый старшекурсник распинался перед пышногрудой студенткой; судя по ее жестам и той благосклонности, с которой она принимала его восторженные излияния, апрель прочно вошел в кровь молодых людей. На деревьях тут и там вспыхивали зеленые пятнышки листвы среди черных сучьев и веток. В такой день жалко было торчать возле машины.

Вопреки строгому приказу доктора Голмахера — не шуметь в Зале без надобности — я мурлыкал какую-то старую колыбельную песенку (мне всегда были не по душе веселые популярные шлягеры, что слышны повсюду). Неожиданно раздался резкий звонок — сигнал об ошибке. Большая красная лампа возбужденно замигала. Ошибка! Ошибка! Я насторожился, хотя твердо знал, что информация, введенная в Эмми, не содержит никаких изъянов. И все же режущий слух звонок сигнализировал о серьезной ошибке, которую машина не могла переварить.

Я кинулся к распределительному щиту, чтобы вырубить ток. Когда моя рука была уже на выключателе первой секции, я случайно взглянул на панель. В первый момент я не поверил своим глазам. Но даже когда я осознал увиденное, здравый смысл и опыт восставали против этого. Я покрылся испариной. Эмми вовсе не решала задачу! Почти все ряды лампочек застыли в темноте, огоньки не горели, и только немногие оставшиеся пульсировали в ритме мотивчика, который я напевал незадолго перед тем: «Лондонский мост свалился в реку».

Пока я с глупым видом глазел на панель, одна из Математиков, искренне считавшая себя юной девушкой, подошла к Эмми, мгновенно уловила мелодию в мерцающих огоньках и бросила на меня пронзительный взгляд.

— Весьма забавно. Но что скажет доктор Голмахер? — Затем с крохотным проблеском женского любопытства спросила: — Каким образом вы это делаете?

— Я ничего не делаю! Она сама это делает! — Я почти вопил.

Женщина раскрыла рот от изумления, чопорно выпрямилась в своей накрахмаленной блузке и решительным шагом двинулась к Голмахеру.

Я повернулся к Эмми. Не отдавая отчета в своих словах, я пробормотал: «Видишь, что ты натворила!» — и дал ей сильного пинка, лягнув металлический ящик. Он больно ударил мою лодыжку. Огоньки моментально погасли.

Когда прибыл доктор Голмахер, не осталось никаких следов того, что Эмми занималась посторонним делом. Голмахер не утруждал себя недоверием. Меня он еще мог подозревать в

мистификации («Вы не сдерживаете свое воображение, Дихтер, вы расточаете его на призрачные грезы»), но он хорошо знал своих Математиков.

— Вы позволили себе напевать, Дихтер, — сказал он, нахмурясь. — Машина, естественно, восприняла симпатичные вибрации… — и т. д.

На том дело и кончилось.

Эмми получала новые задания, с каждым разом все более трудные. Доктор Голмахер, бурно ликуя, упивался ими — тем азартнее, чем неразрешимее они казались. Благодаря его колдовским действиям сенсорное «оборудование» Эмми все более приближалось к человеческому. Ячейки и блоки, чувствительные к цвету, свету, теплу, реагирующие на голос, музыку и невидимый мир волн, пронизывающих вселенную, были добавлены и подсоединены к тысячам милей ее проводов и тоннам стали и стекла. Доктор Голмахер собирался даже всерьез заняться волновым излучением мозга, его биотоками, чтобы использовать этот вид энергии в работе с Эмми.

Машина по-прежнему стояла в Зале, обрастая новыми секциями. И хотя у нее не было своего «я», мы бродили вокруг нее словно сомнамбулы, тихие, молчаливые и замкнутые, как бы приобщенные к великому таинству. «Чистильщики» протирали Эмми сукнами и моющими средствами, наводя на нее косметику с искусством записных красавиц, а ремонтники действовали своими инструментами, как хирурги — скальпелем.

Когда Эмми получила задание от обсерватории в Паломаре, где находится гигантский телескоп, нас стала осаждать пресса. Голмахер заперся в своей конуре, и мне пришлось участвовать в бесконечном развлекательном шоу под названием «Доктор Дихтер», ставшим моим проклятием с тех пор, как я получил свою первую ученую степень. У газетчиков, как и у деятелей науки, весьма элементарное чувство юмора. Но Эмми была для них настоящей сенсацией.

Получив кипу материалов, собранных в обсерватории, Эмми проглотила их в один присест, а потом ткнула пальцем в глубокий космос и безошибочно указала на громаду погасшей звезды, которая спотыкалась, как слепая, среди горящих солнц. Раз или два Эмми вовсе сошла с катушек, пытаясь сунуть нос в дальние закоулки вселенной и определить наше место в разбегающейся Галактике. Тогда доктор Голмахер принимался нянчиться и возиться с огромным механизмом, прописывая свои «лекарства» и снова приводя Эмми в норму. И опять она возвращалась к своей работе, балансируя, как на лезвии, на краю четвертого измерения.

Но всякий раз мы должны были детально разжевывать каждый вопрос, прежде чем положить ей в рот. Она могла лишь давать ответ или не давать ответа. Все ее элементы, вместе взятые, не могли состязаться с миллиардами нейронов и молниеносными синапсами человеческого мозга. Эмми была настолько же умнее нас, насколько и глупее.

Осень пришла в университетский городок, облетели деревья, исчезли молодые люди, появлявшиеся здесь каждый год. Для Эмми сентябрь был заполнен сложным заданием, полученным от фабриканта красок. Математики и несколько физиков — специалистов по цвету — закодировали проблему на перфокарте. Я ввел данные в машину, предложив ей для окончательного выбора несколько вариантов ответа.

Снаружи за окном буйная зелень мужественно сражалась с осенью, неохотно уступая поле битвы багряным и золотым тонам. Кто-то, может быть я, оставил открытым чувствительный к цвету блок компьютера, обращенный фасадом к распахнутому окну. Неожиданно раздался тревожный сигнал, и одновременно зажглась красная лампа: «Ошибка!»

Я в страхе посмотрел на панель. На этот раз в миганье огней не было никакой мелодии. Гораздо хуже! Эмми новее не думала решать порученную ей задачу. Все ее огни еле-еле пульсировали, и было в этом что-то мягкое, ленивое, расслабленное, я бы сказал — бездумное. Словно бульканье маленького ребенка. Повинуясь мгновенному импульсу, я набросил покрывало на обращенный к окну цветочувствительный блок. Томно-младенческое пульсирование сразу прекратилось, и компьютер снова занялся проблемой производства красок. На этот раз я не стал посылать за доктором Голмахером.

Но он все равно догадался, что с машиной что-то неладно. То ли я был слишком робок и почтителен с Эмми, то ли Голмахер, наблюдая за мной однажды во время работы, заметил в моих глазах отблеск тайны. Его наблюдательность не уступала его гениальности. В той необычной для него заботливости, с которой он по утрам справлялся о моем здоровье, я чувствовал скорее заинтересованность физика, чем просто коллеги. Я знал, что должен вернуться в нормальное состояние, если не хочу получить унизительное предложение о годовом отпуске «для лечения нервов».

Как-то раз я был свидетелем капитального ремонта компьютера. Увидев воочию детали и элементы Эмми, вынутые из ее электронного чрева и замененные другими, такими же, взятыми из прозаического ящика, я снова ощутил себя Человеком — Оператором Машины. Я вновь обрел уверенность. Все эти

кусочки металла и стекла были собраны вместе по замыслу высшего творца — Человека-Конструктора, и то, что совершали все эти элементы, было запрограммировано им от начала до конца. Они обладали волшебной силой, только будучи спаяны в единое целое, а это уже было делом человека, и только человека.

Так я успокоился. И все шло хорошо вплоть до конца декабря. После этого я больше не вернулся к своей работе.

За неделю до рождества мы с доктором Голмахером стали готовить Эмми к зимним каникулам. В университетском городке царило затишье, студенты уехали на праздники домой. Наши Математики покинули свои обезьяньи закутки. Остались лишь несколько ответственных сотрудников — главные козыри в колоде. Была пятница, хлопья снега падали в тусклом полуденном свете.

В холодном и пустом пространстве Зала, в бледных лучах усталого солнца Эмми выглядела уже не внушительной, а какой-то сиротливой и озябшей. Доктор Голмахер ходил вдоль машины, щелкая выключателями и проверяя циферблаты, кнопки и тумблеры.

Внезапно Эмми проснулась и протяжно заворчала. Несколько разрозненных огоньков зажглось на панели. Голмахер не насторожился, он лишь хрипло рассмеялся и сказал с напускным безразличием:

— Ничего. Ничего особенного. Просто я прошел в этом белом халате мимо блока с фотоэлементом. Вот и все.

Мы вернулись к своей работе, и я ощутил в поведении старика необычные для него товарищеские нотки. Возможно, тут сыграла роль гнетущая пустота огромного Зала.

Наконец проверка закончилась. В недрах машины все замерло в неподвижности. Жизнь теплилась только в сверкающих обогревательных трубках, предохранявших Эмми от замерзания. Мы окинули компьютер последним взглядом, еще раз проверяя, все ли в порядке. Я протянул руку к распределительному щиту, как вдруг…

Невозможно! Мы явственно слышали мерное жужжание — характерный звук работающего компьютера, хотя ток был повсюду выключен.

Доктор Голмахер действовал, как всегда, быстро и решительно. Неисправность в проводах, утечка электроэнергии из постороннего источника? Он был возбужден. Но тут он увидел огоньки на панели.

Адам Голмахер не был мечтателем, но он создал большую часть Эмми. А такая работа, конечно, не для черствой души и узкого мышления. Математики привыкли общаться с вечностью. И

каждый зодчий продолжает осязать на кончиках пальцев свое творение. Вперив взор в моргающие лампочки, доктор Голмахер, всегда избегавший личных контактов, крепко сжал мою руку.

Ледяная тишина в Зале стала зловещей. Крохотные огоньки то вспыхивали, то гасли в медленном и неуверенном ритме, словно нащупывали какой-то результат, казавшийся мне совершенно бессмысленным. С наигранной шутливостью я сказал — слишком громко, пожалуй, потому что слова раздавались в пустой комнате, как громыханье жести:

— Что ж, по крайней мере, мы должны быть благодарны ей за то, что она больше не поет колыбельные песни. Я никогда…

— Помолчите, Дихтер, и взгляните сюда.

На этот раз я не мог ошибиться, глядя на узор огоньков: может быть, я догадался и раньше, но подсознательно хотел выиграть время. Но времени уже не было. В мигающем узоре я видел что-то очень простое, даже слишком простое:

Один плюс один = два.

Два плюс два = четыре.

Три плюс три = шесть.

Маленькие суммы появлялись одна за другой еле-еле, как бы прихрамывая, словно ребенок отсчитывал их на детских счетах с шариками. Но ведь Эмми умела составлять «суммы», находящиеся за пределами возможностей любого человеческого мозга! Эмми умела делать все… чему ее обучали.

Широкое лицо доктора Голмахера казалось усталым, сморщенным, глаза были полны печали. Он понял все раньше меня. Маленькие огоньки перешли между тем к таблице умножения. На «семью девять» Эмми запнулась на миг, затем выдала результат «шестьдесят один». Красная лампа слабо загорелась, чуть слышно зазвенел сигнал тревоги. Очень осторожно Эмми поправила произведение на «шестьдесят три» и продолжала считать дальше.

— Я тоже всю жизнь спотыкался на этом месте, — пробормотал старик. Но я не увидел улыбки на его лице. Мы стояли с ним бок о бок возле машины; казалось, мы ощущали необходимость находиться рядом.

Эмми закончила таблицу умножения — простую таблицу! И наступила пауза. Ничего больше не происходило. Огоньки погасли, но где-то глубоко внутри, питаясь «нелегальной» энергией, шла напряженная подспудная работа мысли.

Доктор Голмахер ждал с таким видом, словно точно знал, чего ждет. Никогда ранее я не замечал, как он стар, — прежде это не было видно. Снаружи голые деревья стояли, похожие на железные конструкции, в густом свете заснеженного солнца.

Машина снова зажужжала на высоких, совершенно незнакомых тонах. Ни один из огоньков на панели не горел. Но клавиши пишущей машинки — печатающее устройство находилось как раз возле наших локтей — задрожали, завибрировали. Они подпрыгивали вверх, опускались, снова слегка подскакивали, опускались и снова поднимались, будто прицеливались. Наконец клавиши стали печатать. Слова появлялись медленно, потом быстрее, потом еще быстрее. Белая лента выползла из-под стеклянного футляра и легла на пол, прямо к нашим ногам. Сперва я увидал боль и сострадание в глазах Адама Голмахера. Затем увидел слова на ленте. Снова, и снова, и снова так хорошо знакомыми нам синими буквами Эмми настойчиво спрашивала:

КТО Я? КТО Я? КТО Я? КТО Я?

Перевод с английского Владимира Волина

1977, № 6

Конрад Фиалковский, профессор, писатель-фантаст (Польша) МОДЕЛЬ ВЫМЫШЛЕННОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Размышления о фантастике

Современная научная фантастика, как и весь нынешний мир, неотъемлемой частью которого она является, обязана науке гораздо больше, чем ее авторы склонны признавать и выражать в своих мнениях об этом жанре. Гораздо больше усилий они прилагают к тому, чтобы доказать принадлежность научной фантастики к главному потоку литературы; впрочем, если говорить о потенциальных возможностях фантастики, то несомненно, что она касается или хотя бы может касаться всех проблем и дел современного мира, что она не является узконаправленным или специализированным жанром, как это стараются внушить нам ее противники.

Пессимистические прогнозы некоторых критиков относительно будущего научной фантастики можно, как мне кажется, сравнить с высказыванием знаменитого физика Р. Милликена, заявившего в 1930 году: «Путем расщепления атома нельзя получить никакой полезной для человека энергии».

Я думаю, что ошибка, совершаемая всеми сомневающимися в принадлежности научной фантастики к основному потоку литературы, ничуть не меньше ошибки, допущенной Милликеном в его прогнозе. И здесь ничего не меняет тот факт, что в области

фантастики еще нет таких же убедительных аргументов в пользу ее развития и значения, каким является для прогноза Милликена атомный котел.

Веря в будущее развитие научной фантастики, стоит подумать о ее связях с наукой, составляющих одно из важнейших определений, научно-фантастического жанра. Без современной науки, несомненно, не было бы современной фантастики, и это не только — и не столько — потому, что наука стимулирует творчество писателей-фантастов. Непременным условием того, что этот вид литературы может найти себе читателей в современном обществе, является создание особого климата веры в возможности науки, то есть возможность создания ею ценностей, сейчас непредсказуемых, причем ценностей как в виде теорий, мысленных конструкций, так и в виде реальных технических достижений. Только действительный мир, в котором то, что сегодня задумано, завтра может стать научным или техническим фактом, — только такой мир является питательной средой для развития научной фантастики.

Это условие наука XX и даже XIX века выполнила более чем удовлетворительно. Давая примеры крупных неожиданных открытий (каким, конечно, была теория относительности) или технических решений и вытекающих из них возможностей (например, лазера), наука сформировала всеобщее убеждение в том, что в принципе возможно любое, даже самое неожиданное и невероятное открытие, разве что его невозможность будет доказана. Этот принцип действует в современном обществе даже в более широких пределах, а доказанная невозможность рассматривается с этой точки зрения как потенциальное место будущего замечательного открытия. Отсюда все новые сообщения об открытиях, ставящих под сомнение правильность первого или второго законов термодинамики.

Неудивительно поэтому, что при столь высоком уровне всеобщего доверия к возможности новых, неожиданных взлетов науки научная фантастика получила благоприятную среду для своего развития и обязана этим — подчеркну еще раз — именно науке.

У науки же фантастика — по крайней мере, значительная часть ее — заимствовала методы создания модельных конструкций. В науке из некоторого количества правильных (точнее — признанных правильными) утверждений строится структура связей между ними и исследуются возможности, вытекающие из такого описания. При этом мерой качества полученной таким образом конструкции является — в наиболее общем случае — отсутствие внутренних противоречий и

согласованность полученных экстраполяций с действительностью, часть которой они описывают. При создании основ такой конструкции или модели обязателен принцип, называемый «бритвой Оккама», согласно которому не надлежит умножать сущностей сверх необходимого их количества. Чем меньше количество признаваемых правильными элементов, с помощью которых можно по данному способу описать действительность, тем совершеннее в рассматриваемом смысле модель.

В научной фантастике принят подобный же принцип, хотя и не сформулированный столь же четко; согласно этому принципу сущности умножать можно, но лишь до такой степени, чтобы конструкция данного научно-фантастического произведения осталась непротиворечивой. Таким образом, этот принцип имеет локальный характер, и область его применения — одно определенное произведение научной фантастики.

С точки зрения этого принципа произведение научной фантастики — это некая структура, элементы которой могут быть как действительными, так и вымышленными автором. Если, например, автор решил послать своих героев на галактические расстояния, относя их возвращение в пределы жизни поколения, то он вводит, например, подпространство, в котором нет ограничений скорости по Эйнштейну. Подобные же манипуляции производятся, когда нужно придумать какие-то определенные свойства времени, чтобы переноситься в прошлое. Итак, выбор основных элементов предоставляется автору, но построенная на них конструкция должна быть внутренне связанной, и если автор решил лопасть в будущее, пройти в пятом измерении в заданную точку пространства-времени, то он не может не столкнуться с «парадоксом дедушки», то есть с влиянием изменений в прошлом на настоящее.

Для лучшего понимания произвольности основных элементов в научно-фантастическом произведении ниже дан примерный очерк конструкции, схемы модели (отвлекаясь от самого сюжета) и две различные системы принципов, позволяющие осуществить такую конструкцию или схему. Пусть, например, эта конструкция относится к постоянно актуальной в научной фантастике теме, а именно — к теме «летающих тарелок» или посещения Земли разумными существами. Предположив известную согласованность конструкции с наблюдаемой действительностью — согласованность, сводящуюся к отсутствию следов пребывания разумных существ на Земле, — нужно в создаваемой схеме выяснить два элемента:

1) причины отсутствия видимых следов вмешательства разумных существ в жизнь Земли, несмотря на постоянное

присутствие «летающих тарелок», постулированное для целей научно-фантастического произведения,

2) происхождение имеющейся у них информации, которая, несмотря на их постоянное присутствие и деятельность на Земле, позволяет им избегнуть случайного и ненамеренного вмешательства в жизнь Земли. Нужно ведь полагать, что люди, очутившиеся в качестве пришельцев в инопланетном мире, таком же сложном, как и земной, должны будут, несмотря на лучшие намерения, встретиться с серьезными трудностями, если они захотят передвигаться по этой планете и в то же время не нарушать установившегося на ней порядка, чтобы оставаться для ее обитателей незаметными.

Первая группа принципов, позволяющих сконструировать схему, объясняющую оба положения, состоит в следующем.

Разумные существа с планеты Икс значительно превышают по своему развитию цивилизацию Земли. Если они не вмешиваются в земные дела, то это вытекает из свойственного им космического гуманизма, информация же, позволяющая им находиться на Земле, избегая при этом контактов, является результатом тысячелетних наблюдений над развитием земной цивилизации.

Другая система принципов, позволяющая построить такую же конструкцию, состоит в следующем.

Разумные существа с «летающих тарелок» — это наши потомки, овладевшие техникой перехода в любую точку — пространства-времени через пятое измерение. Их невмешательство в наши дела объясняется страхом перед ситуациями типа «парадокса дедушки» или перед изменением их будущей действительности, каким бы то ни было, вмешательством в нашу эпоху. Информацию, необходимую для такого невмешательства, они получили путем исторических исследований.

Пример показывает, что, пользуясь эластичной «бритвой Оккама» и добавляя в случае надобности еще какие-либо принципы, можно получить почти любую нужную конструкцию, однако локальную и не поддающуюся переносу в другие произведения. Именно поэтому научная фантастика является мозаикой из моделей вымышленной действительности, какою является наука.

Однако нельзя отрицать, что некоторые модели вымышленной действительности превращаются в действительность реальную, как произошло когда-то с «Наутилусом» Жюля Верна. И все-таки значительное большинство этих конструкций — это попросту модели иллюзии и наподобие двухмерного изображения несуществующего трехмерного тела

при более подробном рассмотрении обнаруживают свою истинную природу, природу модели вымышленной действительности.

Однако модели вымышленной действительности, как и всякие другие модели, являются в известной мере абстрактными и, если не считать несущественных декоративных подробностей, отражают собою схемы, почерпнутые — по крайней мере в своей основе — из реального мира. Это связано с тем фактом, что научная фантастика пишется современниками и для современников, и формы, полностью оторванные от реалий мира, ежедневно формирующего разум читателя, были бы непонятными. Отсюда следует, что эти модели суть деформации действительности, структура которых обусловлена известными логическими законами.

Не случайно, глядя на действительный мир сквозь призму фантастики, мы отодвигаемся от него на какое-то расстояние и видим мир не как реальность, которая нам дана или которую мы застали, а как одно из многих возможных решений. Научной фантастике нетрудно получить самые различные решения. Такая многовариантность возможна благодаря принятым у автора, вымышленным или хотя бы не совсем правильным принципам: принятые за правду условно, локально для данного произведения, они позволяют взглянуть на известные нам факты и структуры с другой точки зрения, недостижимой путем повседневного нашего опыта.

Именно так происходит иногда — не столь уж редко! — и в науке, когда неожиданное, непредвиденное открытие, имеющее принципиальные последствия для всей картины мира в целом, позволяет нам вдруг на краткий миг, когда его сущность достигает нашего сознания, увидеть весь мир в перспективе, с расстояния нового знания. Именно такое переживание, наверное, было уделом первых сторонников теории Коперника: воспитанные в геоцентрических традициях, они вдруг увидели нашу планету как одно из многих небесных тел, обращающихся вокруг Солнца. Научная фантастика — это «заменитель» переживаний такого рода, и хотя она исходит из «деформированных» предпосылок, но все же позволяет получить суррогат такого переживания.

Некоторые навыки мышления независимо от того, касаются ли они объектов действительных или вымышленных, остаются в человеке.

И тут, по-видимому, замыкается петля обратной связи, путем которой фантастика воздействует на науку. Это воздействие остается скрытым, неявным, ибо оно относится к способу

мышления и способу восприятия реального мира.

Перевела с польского З. Бобырь

Абдул-Хамид Мархабаев
ОТВЕТНОЕ СЛОВО

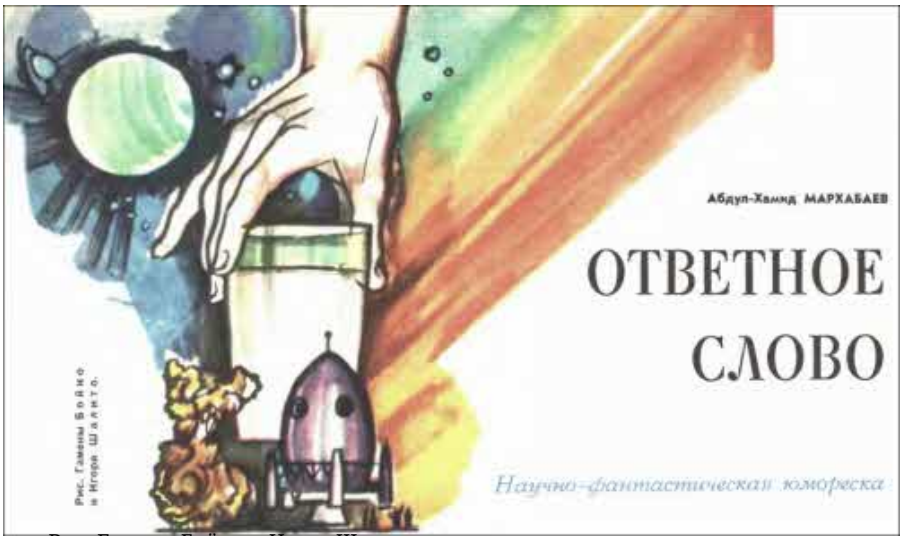


Рис. Галины Бойко и Игоря Шалито

Научно-фантастическая юмореска

Загадки будущего проще и куда доступней тайн прошлых веков. Чтобы разогнуть очередной знак вопроса, выставляемый набегающим завтра, мы сочиняем гипотезы, обкатываем их экспериментально или на компьютерах, обламываем на противоречиях и из руин этих ошеломляюще смелых или, наоборот, пугливых, как серна, предположений, монтируем добротное здание типового караван-сарая теории. В прохладе этого гулкого помещения разгоряченный ум исследователя отдыхает, переваривая стебли вопроса, еще вчера цветущего и волнующего, как ковыльная степь в буйном набеге весны, а ныне — как та же степь, обработанная под английский газон или, напротив, вытоптанная, будто промчались по ней бесчисленные табуны сказочных времен.

Тайны прошлого также облагаются разномастными гипотезами. Их тоже пытаются столкнуть лоб в лоб, разогнав до субсветовых скоростей силой полемических страстей, рушат и обламывают, как ядра незадачливых атомов, силком втянутых в роковое для них чрево синхрофазотронов. Но тут-то чаще всего ничего не рушится и не обламывается. Исторические гипотезы

преспокойно выдерживают разгул стихии полемик, подобно древним постройкам, которым баллы землетрясений нипочем. Они, эти исторические гипотезы, выходят из игры нашего всемогущего разума, в своей первозданной угловатости и удручающей несовместимости. Их не пригонишь друг к другу, из них не слепишь прочного здания теории.

Да, в смысле диссертабельности запросы глухой старины никак не могут тягаться с научными загадками, которые мы выдвигаем, мотивируя вопиющими потребностями завтрашнего дня. Приобрести автомобиль, согласитесь, несколько сложнее, чем трамвайный билет. Вот так и тут.

И все же это жесткое правило иногда повергается в прах плодотворными обстоятельствами жизни с такой убедительностью, что остается только благодарить судьбу за подобные обстоятельства, как бы они ни были трагичны в своем начальном явлении. Ярким примером тому может послужить драма, разыгравшаяся во время нашумевшего в свое время приема пришельцев с одного из альфавидных созвездий, когда общеизвестное гостеприимство Земли буквально повисло на волоске и едва не было скомпрометировано в глазах широких масс близких и далеких миров. Вот тут-то один из утраченных секретов ветхой старины, азиатского, нужно заметить, происхождения, и явился, как джинн из бутылки, причем в совершенно материальном воплощении, зафиксированный выверенными формулами органической химии, во всей красе спектра атомного и молекулярного составов. Тем самым пошатнувшаяся на несколько световых часов репутация всех нас, землян, была не только спасена, но стала еще прочней.

* * *

Звездолет шел из самых недр Млечного Пути прямым курсом к Земле. Когда службы Астронадзора получили устойчивое изображение этого посланца неведомых миров, когда была вычислена траектория движения звездолета, специалисты единодушно подивились наивности новоявленных пришельцев. Было ясно, что они твердо намеревались зачалить базовый корабль на околоземную орбиту, а потом на собственном челночном аппарате своим ходом опуститься в лоно Земли.

Дальние братья по разуму, по-видимому, не предполагали, что с этой цивилизацией можно вступить в прямой контакт иным способом и что на этот счет у нас давно сложились твердые установки. Дружеские «контакты напролом» категорически

исключались правилами карантинной и других секций Астронадзора. Поэтому экипажу звездолета были посланы встречные сигналы с информацией об этих правилах, и, нужно с удовлетворением отметить, информация эта была не только понята экипажем, но и безоговорочно принята. Одновременно техническими работниками Службы Космической Тяги встречным курсом был запущен перехватчик гостиничного типа, и в намеченной точке делегация пришельцев охотно перебралась на борт перехватчика. Ясно, что микробиологическая чистка и прочие процедуры Встречного Карантина, требующие длительного времени, были реализованы в самом пути к Земле.

Разумеется, не была обойдена и проблема питания делегированных пришельцев — завтрак, обед и ужин готовились теперь из высококачественных продуктов, синтезированных в лучших лабораториях органической химии Пищепрома, а собственные припасы гостей опечатали, не касаясь их и взглядом, сотрудники Встречного Карантина. Пришельцы заблаговременно вживались в земные условия, учились дышать нашим воздухом, переваривать новую пищу и на подлете к планете были вполне готовы глотнуть живительного ветра океанов, лесов и полей, а также испытать все наше широкое хлебосольство за банкетным конвейером, протянувшимся от горизонта до горизонта в расчете на десятки тысяч персон, званных на праздник встречи пришельцев.

* * *

Таковы в общих чертах обстоятельства, предшествовавшие внезапному развитию тех драматических событий, что не только поставили под сомнение размах нашего хлебосольства, но на какое-то время пошатнули и сам планетарный престиж науки Земли. Впрочем, как подчеркивалось выше, не разыграйся эти события на вселенском банкете, не будь затронута часть разума всей нашей цивилизации, один из волнующих секретов седой старины так и остался бы за семью печатями, трактуемый современниками не иначе, как плод досужего вымысла канувших в Лету акынов, бандуристов и шаманов-конферансье.

* * *

Город Байконур, как известно, окружен непроходимыми джунглями. Дикие первобытные леса, перевитые жилистыми

руками лиан, грозят в один прекрасный день поглотить знаменитый научный городок, а орангутанги, шимпанзе, макаки и прочие представители веселого могучего племени человекообразных готовы хоть сейчас занять место высоколобого, задумчивого населения старинного космического центра. Однако стараниями небольшой команды, умело оперирующей силовыми полями, натиск живой природы сдерживается, и пространство радиусом в десять километров, считая от королёвской избушки, сохраняется почти в том виде, в каком оно однажды предстало перед глазами смельчака, дерзнувшего первым из смертных протаранить собственным телом дремотные сферы земного притяжения.

Солоноватый аромат исконной казахской степи причудливо перебивается здесь тяжелыми струями терпкого запаха джунглей, в этом и состоит знаменитая прелесть букета воздуха байконурской кондиции. Однако в день торжественной встречи пришельцев стоял полный штиль, и гостям не довелось вкусить этого изысканного коктейля запахов. Пахло горячей степью, но казалось, что большего им и не надо. Ноздри пришельцев трепетно раздувались.

— Да, да, — говорили они между собой, — вот точно так же пахнет у нас на Альфе! Степью!

Разговор пришельцев был прекрасно понят всеми присутствующими: автоматика перевода работала чисто и синхронно. Действие аппаратуры вполне устроило и пришельцев. Видно было, что они не только прекрасно уяснили смысл речей, произнесенных в их адрес руководителями торжества, но и прочувствовали сам тон искреннего дружелюбия этих обращений, глубокого удивления перед отвагой и упорством пришельцев, не пожалевших времени и сил на столь длительное путешествие.

Внимательно выслушав последнее приветствие, несколько сокращенное ввиду некоторой затянутости предыдущих речей и палящего действия светила, вошедшего в самый зной, пришельцы о чем-то пошептались, и тогда один из них взял в руки председательский микрофон. Сказав всего несколько слов, он отложил его на место.

— Ответное слово, — отчетливо и внушительно начал автопереводчик, — предоставляется э… э… э…

Автомат в эти секунды перебирал тысячи слов и синонимов, чтобы поймать идентичность, и поймать ее не мог.

— В общем, Аксакалу, — прозвучало наконец в динамиках. — Это значит — старейшему, мудрейшему, почтеннейшему, — и еще раз: — В общем. Аксакалу.

— Опять завралась проклятая машина, — раздался

довольный голос какого-то беспощадного противника технократов. — Ишь, зашипела.

Когда же Аксакал встал в рост и острым взглядом неторопливо обвел присутствующих, все поняли, что машина не налгала, просто слово ей досталось мудреное. Все увидели, что Аксакал бесконечно стар, бескрайне мудр и, несомненно, почтенен.

— Я прилетел, чтобы сказать вам: «Мир вам, дети мои!» — Величественная простота первых слов Аксакала заворожила обширнейшую аудиторию. Подчиняясь магии этих торжественных слов, все, не сговариваясь, встали, а Аксакал выдержал длинную паузу, будто дожидаясь, когда поднимутся последние. И тут колени старца подогнулись, высохшая фигура запрокинулась назад и рухнула на руки потрясенных пришельцев.

— Солнечный удар! — выкрикнул кто-то в абсолютной и страшной тишине. Но солнечный удар был здесь совершенно ни при чем.

* * *

Погруженный в анабиоз организм Аксакала тихо дремал, пока молчаливые специалисты высвечивали его волнами всевозможных наименований. Поскольку остальные пришельцы тоже выказали склонность к обморокам и головокружениям, их также усыпили всех до одного и тоже осторожно высвечивали. Пока что было совершенно ясно, что ни условия акклиматизации, ни поле тяготения Земли, ни магнитные поля и другие факторы того же порядка не повлияли на состояние пришельцев. Экспресс-анализ между тем показал явную недостаточность в крови и клеточной ткани пострадавших следующих химических элементов: кальциевой соли, тиамина, рибофлавина, окиси никотина, биотина, окиси аскорбина. В недостаче оказались и микроэлементы меди, кобальта, марганца, цинка, брома, йода, мышьяка, кремния, бора, ванадия, титана… И наибольшие убытки всего этого добра понес, увы, организм старейшего из старейших, Аксакала.

Честь Земли требовала возвращения утраченных в результате контакта с нами элементов их законным, временно усыпленным владельцам. Лучшие умы планеты были накоротко подключены друг к другу, чтобы экстренно разрешить эту незадачу, и научные организации, подчиненные этим умам, были запараллелены через умы шефов. Наутро ответ был таков — восстановить химические соединения и микроэлементы в прежнем качестве и количестве

поможет инъекция некоего снадобья следующего состава: от 91,8 до 95,6 % воды, 2 % белка, от 1,8 до 2,1 % жира, от 1,1 до 3 % углеводов, от 0,1 до 0,8 % двуокиси углерода, от 0,6 до 1,1 % молочной кислоты, от 0,5 до 2,5 % спирта.

К вечеру подозрительное снадобье, название которого никто не знал, было готово. Румяные медицинские сестры быстро готовили шприцы, чтобы делать инъекцию внутримышечно. Ждали еще какого-то сообщения от второго врача пришельцев, оставшегося на базовом корабле. И тут с грохотом распахнулись двери операционной. В дверях, шатаясь от усталости, с блуждающими глазами собственной персоной стоял этот самый второй врач, его сразу опознали по фотографиям. Его руки сжимали большую бутыль, в которой пенилась белая жидкость. Он взволнованно и сбивчиво говорил, а автомат сухо и бесстрастно правил текст:

— Инъекцию отменить! Полагается пить. Как воду. Вам удалось синтезировать то, что я принес с собой, — кумыс, эликсир жизни. Но добываем мы его совсем по-другому. Подробности позже.

Перевод с казахского В. Григорьева

1977, № 7
Владимир Рыбин
ЗДРАВСТВУЙ, ГАЛАКТИКА!

Рис. Галины Бойко и Игоря Шалито

Научно-фантастический рассказ

Наконец-то тишина. Ни дозвездных вихрей, ни дикой вибрации, от которой немели даже роботы, ни исступленных воплей двойников. Тишина. Хочется закрыть глаза и забыться, утонуть в мягкой колыбели электросна. Пожалуй, я так и сделаю через четыре часа, когда блоки памяти скопируют сумятицу моих мыслей и воспоминаний, а главный электронный мозг проверит все системы корабля, проанализирует случившееся за время последнего, памятного витка. И доложит, что все в порядке. Я разбужу товарищей. Через четыре часа.

С чего это началось? Мне было бы проще анализировать с — конца. Но так уж мы запрограммированы — нам подавай сначала. А начал этих в любом деле — хоть пруд пруди. Даже если заранее договариваться о том, что считать началом, так сказать, стабилизовать свое положение в пространстве-времени. А если

перевернуться? Тогда конец будет началом, а начало концом. И классические причинно-следственные связи запутаются окончательно. Как зеленоглазая Ариа в своих по-женски нелогичных поэтических вымыслах.

— …Петро, хочешь добраться до тайны тайн?

Так сказал мне Иван Поспелов, первый заводила нашего детского «вигвама», умудрившийся каким-то образом стать первым астрофизиком Земли. Сказал, как и в детстве, на всякий случай посмеиваясь. Хоть точно знал: в наше время на манящий свет тайны, закрыв глаза, кинется каждый человек. Чем еще и жить человеку, как не борьбой с неведомым. Трудней борьба — значимей и победа…

С того простенького вопросика и начались мои мытарства. Хотя, если разобраться, были и другие причины. У одной из них есть имя — Ариа.

Первый раз я увидел ее в Лунном городке. На смотровой площадке — прозрачной полусфере, повисшей над пропастью. В тот раз Ариа стояла посредине площадки и читала стихи своих предков:

— «Тишина и звук связаны крепче узла, звуки, отточенные тишиной, по заросшим тропам скользят, и брезжит восход для тех, кто придет, и для тех, кто уйдет…»

От стихов веяло древней мистикой, а сама Ариа, какая-то вся контрастная, ярко освещенная солнцем, была как призрачный световой блик на бархатном фоне неба.

Не отдавая себе отчета, я пошел к ней через всю площадку по матово поблескивавшему полу. Увидел, что она мулатка, что плечи у нее мягкие и округлые, а глаза зеленые, как у кошки.

«Все, — сказал я себе, — никуда не полечу, у меня и на Земле тайн хватит».

Вы тоже летите к центру? Вместе с нами? — спросила она так, словно мы были сто лет знакомы.

— Вместе с вами? — воскликнул я. — Конечно!..

…Мы летели недолго. Только в самом начале, когда добирались до нулевой зоны, расположенной в ста астрономических единицах. Там мы вошли в подпространство и выскочили из него почти в расчетной точке — на периферии звездного сгустка центральной части Галактики. Отсюда по-настоящему и начиналась наша экспедиция. Предстояло вонзиться в звездную кашу и сделать только один виток, подобно комете обогнув центр Галактики. Прежде управляемые роботами корабли уже дважды проделывали этот путь, и он считался вполне безопасным. Но человек есть человек, ему мало голой информации, ему подавай впечатления. К тому же оставались

загадкой неизменные странные провалы памяти у корабельных роботов. Словно там, в центре Галактики, кто-то на время выключал их.

Мы знали, что центральная часть Галактики не безголоса, как ее периферия, и включили все имевшиеся у нас защитные поля. Но отгородиться не смогли: звук возникал словно бы внутри каждого из нас. Это был даже не звук, а сложная вибрация. Я назвал бы это «вибрацией души», похожей на обычную нервозность, если бы она не вымотала нас в первую же неделю полета, доведя до истерики, почти до сумасшествия.

И тогда мы собрались на совет. Все шестеро — Сергей, Анджей, Хосе, Лю, Ариа — единственная женщина на нашем корабле. И я, разумеется, ваш покорный слуга. Человек, на долю которого выпало главное испытание. Так, по крайней мере, я считал еще недавно. Сейчас, когда все позади, этой уверенности у меня нет. Сейчас я даже подумываю: уж не повезло ли мне, что пришлось пройти через все это? В чем еще суть жизни, как не в испытаниях, в преодолении трудностей?

Целых два часа мы сидели в рубке друг против друга, спорили, угрюмо посматривали на стоявший в стороне от главного пульта яркий красно-желтый блок управления подпространством. Достаточно было прорвать розоватый пластик, прикрывавший головку переключателя, и мы разом нырнули бы в немой вакуум нашего околосолнечного пространства. Правда, для этого требовалось кое-что подготовить, чтобы ненароком совсем не выскочить из своей Галактики. Но это недолго сделать.

— Что, если погрузиться в сон? — сказала Ариа.

— Для вас это наилучший выход, — послышался с пульта спокойный, чуть дребезжащий голос. — Я смогу самостоятельно выполнить программу экспедиции.

За спором мы как-то забыли о седьмом участнике дискуссии — электронном мозге. На сухом языке инструкций он именовался — ГРУК — Главный робот управления кораблем. Но мы называли его по-свойски — «Другом».

— Зачем тогда мы полетели? — сказал Анджей. — Спать можно было и на Земле.

— Вы не выдержите нервных перегрузок, — возразил «Друг».

— Это что, предположение? — осторожно спросил Хосе.

— Нет, не предположение… — «Друг» помигал рубиновыми глазищами и сердито погудел динамиками.

— А что, мальчики, — засмеялась Ариа, и все с удивлением посмотрели на нее: в такой момент смеяться? — если нам по очереди бодрствовать? Скажем, по двое?

Тут она посмотрела на меня, и я, как школьник, поднял руку.

— Согласен первым. Выдержу.

Но «Друг» оказался плохим другом. Покашляв динамиками, он объявил, что оптимальный вариант — бодрствование по одному. И добавил, словно бы мне в утешение, что он сообщит, когда бодрствующий одиночка станет «терять голову», и разбудит того, чье нервное состояние будет ближе к норме.

…Дежурство я начал с неведомо кем заведенной древней традиции — с осмотра корабля. Можно было сделать это, не вылезая из удобного кресла дежурного: роботы доложили бы о малейшем несоответствии норме и показали бы все, что надо. Но я пошел сам, сопровождаемый тихим, вкрадчивым шелестом шагов моей «няньки», так все мы называли своих персональных роботов, официально именуемых неясным словом «сопровождающие» и приставленных к нам на веки вечные. На Земле «нянек» ни у кого из нас не было, там пользоваться их услугами считается недостойным человека. Но для космонавтов, уходящих в запространственные дали, они обязательны, и суровый Устав корабля предписывает не делать ни одного шага без сопровождения «няньки» — полумашины — полуживого существа, знающего, помнящего и умеющего все на свете.

Обычно космонавты быстро привыкали к своим сопровождающим и, возвратившись на Землю, тосковали по ним, как некогда люди тосковали по собакам, о которых я много читал еще в школе. Но пока что меня вечное присутствие «няньки» раздражало. Бросишь на стол видеокнигу — что книге сделается, на ней хоть танцуй, — «нянька» посмотрит с укоризной, поднимет книгу и поставит в нишу на полке. Скинешь ботинки, чтобы хоть пошевелить пальцами, почувствовать прохладу пластика, «нянька» тут же напомнит, что надо встать на электроковрик. Ну и всякое такое. Я знал, что скоро привыкну к ее педантичным заботам о моем здоровье, гигиене моей психики, о моих знаниях и умениях, знал, что скоро просто не смогу обходиться без нее, но сейчас, в самом начале долгого пути через неведомое, я по-мальчишески посмеивался над ее педантизмом и про себя называл Занудой. Но поскольку слово «Зануда» коробило даже меня, то я сократил его до «Зины» и таким образом удовлетворил себя и понимающего «Друга», поскольку — опять же по неведомо кем заведенной традиции — космонавты называли своих «нянек» человеческими именами: мужчины — женскими, женщины — мужскими.

Итак, мы с «Зиной» шли по длиннющему главному коридору, по кругу, обегавшему весь корабль. Справа тянулся бесконечный ряд овальных иллюминаторов, слева были двери, в которых тоже имелись иллюминаторы, и — овальные же — проходы к центру

корабля, где было все: оранжерея и энергетические камеры, бассейн с отличным пляжем и защищенная тройным силовым полем святая святых — рубка управления, место дежурного по кораблю, обиталище «Друга».

Справа за иллюминаторами дышал, пульсировал Космос. Здесь он был не бархатисто-черным, как у Земли, а светился бесчисленными звездами — белыми, голубыми, желтыми, красными.

Когда мне надоело глядеть на звездные сгустки, я пошел к камерам сна и остановился возле двери, за которой спала Ариа. Она полулежала в глубоком кресле, откинув голову, и казалась вовсе не спящей, а просто отдыхающей, только на одну минуту закрывшей глаза.

Я долго глядел на нее, а потом взял и постучал в стеклянную дверь. «Нянька», неотлучно дежурившая возле нее, сердито заморгала глазищами-индикаторами, подошла к двери и опустила светонепроницаемый экран. Это было хуже всякого наказания, поскольку обрекало меня на полное одиночество. Я знал, что «нянька» поднимет экран, как только уйду, но все же нажал подбородком на клавишу связи, прицепленную к вороту, и пожаловался «Другу».

— Всякий раз, как вы подходите к двери, у спящей наблюдаются изменения психофизиологического состояния, — терпеливо разъяснил «Друг».

— А ну проанализируй вот это, — сказал я, чтобы отвлечься.

И принялся читать ему одно из древних стихотворений, которое когда-то слышал от Арии:

— «Улыбка твоя Млечным Путем мой небосклон рассекла. Золотистые пчелы на щеках твоих смуглых жужжат, словно звезды..»

«Друг» молчал. В наушниках хорошо было слышно, как он напряженно гудит.

— Смотри не сгори от натуги! — засмеялся я и пошел по коридору, погоняемый совсем измучившей меня нервной дрожью.

В иллюминаторах все так же горели звезды, большие и малые, близкие и далекие, словно неведомые чудовища шевелили длинными щупальцами протуберанцев. Я подумал: какая, должно быть, жара в этой топке Галактики, — и с ужасом представил, что будет, если хоть на миг ослабнут наши защитные экраны. И, подумав так, свернул по первому же коридору туда, где не мельтешила в глазах мозаика звездных огней. Теперь я знал, куда направлялся, — в баню. Я разделся, с удовольствием похлопал себя по голому животу, шагнул в душевую и повернул рычаг. Дверь мягко Захлопнулась. Сразу же сверху, и с боков, и снизу

метнулись легкие прохладные струи воды. Они становились все более упругими, гладили, мяли тело со всех сторон.

И кто только придумал это чудо — душ?! Сколько наизобретено разных способов мытья, — и воздухом, и электричеством, и с помощью ультразвуковых щупалец, приятно расслабляющих, снимающих усталость, — сочетающих, так сказать, приятное с полезным. А обыкновенный, первобытный горячий или холодный душ все же незаменим. Он и снимает усталость, и бодрит, и успокаивает, и радует…

Закрыв глаза, поскольку пользоваться в душе очками не в моих правилах, я приседал и подпрыгивал, крутился и как бы плыл на упругих струях, распластав руки. Потом закрыл ногой клапан, наполнил душевую водой по самое горлышко и барахтался как хотел в пенных водоворотах, в волнах воздушно-водяной смеси.

И вдруг почувствовал — именно почувствовал, поскольку не мог открыть глаз, — что на меня смотрят. В первый момент я не обратил на это ощущение никакого внимания: то ли еще может почудиться, когда все один да один. Если, конечно, не считать роботов. Потом все же ухитрился взглянуть, заслонив глаза руками, и показалось мне, будто в раздевалке кто-то стоит. Но и тогда не взволновался. Может, это мой костюм висит на вешалке? Однако поднял руку, нащупал над головой подвижную пластину переключателя. Сразу услышал, почувствовал низкий вой Космоса и понял, что гнало меня сюда, в душевую. Успокаивающим массажем, шумом воды хотелось заглушить этот вой, отдохнуть от него.

Осторожно, словно опасаясь чего, я открыл один глаз и за водяными потеками на стекле ясно увидел человека. Он стоял в раскрытых дверях и с удивлением, даже со страхом, смотрел на меня. Да, да, я мог поручиться, что незнакомец чего-то боялся. Впрочем, незнакомцем я бы его не назвал: у меня было ощущение, что мы где-то встречались, и совсем не на заре туманной юности. И в то же время я был совершенно уверен, что это не Анджей, и не Сергей, и не Лю, и не Хосе. И конечно, не Ариа. Ее близость я бы ощутил не хуже, чем эту дикую вибрационно-шумовую нервотрепку.

«Может, космический заяц? — мелькнула мысль. — Но чего он до сих пор не объявлялся?»

Я откинул верхнюю часть иллюминатора и взглянул на человека.

— Чего уставился? — сказал ему, стараясь оставаться спокойным. — Выйди, дай одеться.

— М-да, — сказал он знакомым голосом.

Незнакомец завозился за дверью.

— Кажется, понял, — сказал он. — Слушай, ущипни себя.

— Пожалуйста.

— Ты ущипнул себя за левое ухо?

— Допустим.

— Тогда все ясно, ты — это я.

— Не морочь мне голову…

— Да, да, ты — это я, только ты как бы вчерашний.

— Сам ты вчерашний.

— Да посмотрись же в зеркало.

Я послушался, повернулся к зеркальной стеновой панели и увидел самого себя, как две капли воды похожего на того, что стоял в дверях. Только у того были совершенно сухие, хоть и встрепанные, волосы.

— Что это значит?

— Пока не знаю.

И словно все происходило в обычной обстановке, мы повернулись спиной друг к другу, и я пошел направо по коридору. Коридор был длинный и узкий, с матово поблескивающим шершавым ковриком посередине. Справа и слева тянулись овальные закрытые двери с темными панелями сбоку. Обычно при обходе я трогал эти панели, двери отъезжали в сторону, и за ними вспыхивали зеленые глаза дежурных роботов, означающие, что в отсеках все в порядке.

Возле отсеков для отдыха было сумрачно: слабый свет падал в коридор только через прозрачные двери. Я спешил, не глядя вперед. А когда поднял голову, то остановился как вкопанный: возле двери, к которой меня так тянуло, стоял тот тип, мой двойник, заглядывал внутрь с подозрительным вниманием. Это встревожило: значит, он не пошел налево, а зачем-то направился сюда, к отсекам сна? Что ему тут надо?

— Эй! — крикнул я, выхватив увесистый преобразователь поля.

Он вздрогнул и вдруг ловко отскочил в сторону, кинулся за угол. И дробный, частый топот его башмаков, хорошо слышный даже за гулом переборок, быстро затих в глубине коридора.

Я внимательно осмотрел отсеки. Все было как обычно, только Ариа вроде чуточку повернулась во сне и в ее лице появилось что-то насмешливое.

И вдруг я увидел совсем уж непонятное: мой преследователь, мой двойник вернулся и преспокойно прошествовал по коридору мимо меня.

— Послушайте! — крикнул я. — Давайте все-таки поговорим!

Гулкое эхо поскакало по коридору, словно закричали сразу

несколько человек. Но мой двойник даже не оглянулся.

— Постойте!

Я пошел быстрее, потом побежал, но и тот, впереди, тоже побежал и расстояние между нами нисколько не сокращалось.

— Стой! — Я стянул с головы шлем и запустил им в убегавшего. И в тот же миг почувствовал, как что-то мягкое ударило мне в спину. Обернулся, увидел на полу мой собственный шлем. Не там, куда я его бросил, а тут же, рядом.

Вдруг я услышал шум воды. И понял, что, обежав коридорами, вернулся к душевой, где недавно, свободный от каких-либо миражей, нежился в блаженном одиночестве в упругих струях водного массажа. Но я хорошо помнил, что выключил воду, и, полный нового беспокойства, толкнул дверь в душевую. И, пораженный, остановился на пороге: за прозрачной дверью герметической капсулы в пузырящемся воздушно-водяном коктейле плавал голый человек. Он открыл глаза, с невероятным удивлением посмотрел на меня и выключил воду.

— Чего уставился?! — сказал он таким тоном, словно мы с ним были давними приятелями. — Выйди, дай одеться.

— М-да! — поразился я. — Кажется, понял. Слушай, ущипни себя.

— Пожалуйста, — удивленно сказал он.

— Ты ущипнул себя за левое ухо?

— Допустим.

— Тогда все ясно. Ты — это я, только ты как бы вчерашний.

— Сам ты вчерашний!

— Посмотрись же в зеркало, — сказал я, выходя из-за косяка.

Он и в самом деле посмотрелся и повернулся ко мне с выражением крайнего удивления на лице.

— Что это значит?

— Пока не знаю.

Теперь я кое-что понимал, как видно, звезды каким-то образом замкнули в кольцо цепь событий. Теперь, пока этот тип будет ходить по коридорам да бегать за своим двойником, надо побыстрей добраться до рубки…

«Как это — бегать? — поймал я себя на неожиданной мысли. — Значит, их будет уже два — двойника? А потом? Сколько же их всего? Что они будут делать?..»

Я чувствовал, что вот-вот запутаюсь окончательно и вовсе потеряю способность последовательно мыслить.

А без этой способности человек — не человек. В этом и заключается то, что называется рассудком, — в причинно-следственных связях.

Как за спасительную ниточку, я ухватился за воспоминания, в

которых все было просто и ясно. Но вспомнились стихи: «Тяжелый гул уши заложил и встал стеной… В закатный час в кроваво-красной мгле стоит стена, как черная химера…» Стихи еще больше запутали меня. В обычном мире логических взаимосвязей путаница стихотворных образов как-то успокаивала воображение. Теперь, когда мозг жаждал ясности, такие стихи отнимали последние силы.

…Коридор раздвинулся, образовав просторную залу перед входом в рубку. Я подбежал к прозрачной стеклянно-пластиковой двери, толкнул панель, темневшую справа. Но дверь не открылась. И только тут я заметил, что двойник уже в рубке. Он пятился в угол к малиново-желтому пульту управления подпространством.

— Не подходи к пульту! — закричал я и забарабанил в дверь. И повернулся к своему роботу. — Ломай!

— Наносить повреждения кораблю не разрешается, — спокойно ответила моя «Зина»;

— Ну хорошо. — Я решил переменить тактику. — Ты можешь войти в рубку?

— Конечно, — сказала «Зина». И пошла к двери. И дверь, как это всегда раньше бывало, раздвинулась перед ней.

Я не стал испытывать судьбу, кинулся следом. К моему удивлению, в рубке никого не было, только «Зина».

Кресло послушно прогнулось, улавливая форму моего тела, и я сразу понял, чего мне теперь больше всего хочется, — отдыха, глубокого сна. Чтобы ничего не видеть и не слышать. Но ведь именно в том и состояла цель экспедиции, чтобы все увидеть и услышать.

— «Друг», — позвал я, — что все это значит?

— Это для вас наилучший выход, — ответил знакомый хрипловатый, чуть дребезжащий голос.

— Не понимаю.

— Я смогу самостоятельно выполнить программу экспедиции…

— «Дружище!» — испугался я. — Что с тобой? Почему ты повторяешься, как старинный магнитофон?

В дверь забарабанили. Оглянувшись, я увидел двойника, приплюснувшего нос к самому стеклу. Он размахивал преобразователем, и, хоть я точно знал, что против двери рубки он бессилен, все же вскочил, попятился в угол. И подумал: если я проник через дверь, то и он может проникнуть. С помощью двойника-робота. Я наткнулся на кресло, стоявшее возле пульта управления подпространством, упал в него, положил руку на розовый пульсирующий пластик, прикрывающий головку

пускового устройства, и подумал, что если двойник ворвется в рубку, то переведу корабль в подпространство и проверю, кто есть кто…

Потом у дверей появился второй двойник, третий, четвертый…

Они бегали, толкаясь и словно не замечая друг друга, кричали что-то.

А потом они стали исчезать. По одному. Но едва опустел зал перед входом о рубку, как в нем появилась… Ариа. Медлительная после сна, она остановилась перед дверью, томно провела рукой по глазам, словно хотела стереть какую-то невидимую завесу…

Лже-Ариа? Этого только недоставало… А может, она настоящая, проснувшаяся?.. Вдруг я увидел: откуда-то появился двойник, медленно подошел к ней, и она, вздохнув, положила голову ему на плечо.

И тут, не выдержав, я грохнул кулаком по розовому пластику.

Очнулся в полной тишине. Экраны внешнего обзора чернели космической пустотой. Перекрестие на штурманском экране указывало, что мы на какой-то периферии Галактики. Это была удача: в пределах своей звездной системы мы могли скакать в пространстве сколько угодно.

— «Друг», — спросил я, — что это было?

— Параллакс времени и пространства, — как ни в чем не бывало ответил знакомый голос.

Параллакс… Я, кажется, и сам начинал понимать, что к чему. Это не параллакс, не просто угловое смещение, а целое кольцо пространства-времени. Живя в мире, где все имеет начало и конец, мы невольно отсекаем себя от безвременности, ставим ее за грань разумного. А ведь все в мире материально. Беспространственность и безвременность — это ведь не что иное, как вечность и бесконечность. Дети определенных природных условий, существующих на нашей периферии Галактики, мы невольно фетишизируем эти условия, принимая привычное за абсолютное. И даже роботов своих наделяем нашими слабостями. Сделать иначе значило бы освободить их от нашей власти над ними…

А здесь — в центральной части Галактики — другие время и пространство. Гравитационные или иные аномалии тому виной, только здесь все свито в спирали — может, и в клубки. Путешествовать по кольцам времени?..

А может, кольца пространства-времени не аномалия, а закономерность и для нашей Солнечной системы? Просто у периферийной звезды долог путь по кольцу и с точки зрения человеческой жизни бесконечен. Бесконечен на окраине

Галактики, но не в ее центре.

Я многое понял в этот миг просветления, не понял только одного: почему кольца пространства-времени лишь у людей сталкивают прошлое с настоящим, настоящее с будущим? Почему не повторяются роботы? Ведь я так и не видел двойника моей «Зины».

На пульте один за другим вспыхивали зеленые огоньки: роботы, обслуживающие отсеки, докладывали, что переход через подпространство прошел нормально. Ненормальной была только моя изнуряюще-тяжелая усталость. Впрочем, и ей было объяснение: прыгать через тысячи парсеков, даже не надев шлема, не приняв никаких мер личной предосторожности, — такое даром не проходило.

Я откинулся на мягкий подголовник кресла, включил запись памяти и стал вспоминать все, что было со мной за время одиночного дежурства. Мне надо было просидеть четыре часа. Всего четыре часа!

А потом я почему-то поднял голову. И увидел Ариу. Она остановилась перед дверью, томно провела рукой по глазам, словно стирая какую-то невидимую завесу.

Я вскочил. Ариа подошла ко мне, вздохнула и положила голову мне на плечо, словно устала от бесконечно долгой разлуки.

1977, № 8
Бангуолис Балашявичюс
ЗНАКОМЫЙ СОЛДАТ

Рис. Розы Мусихиной

Фантастический рассказ

Недалеко от Плишкяй, чуть выше устья безымянного ручья, по правому берегу Немана тянется болото. С других трех сторон его опоясывает лес, глухой сырой ельник: земля здесь жирная, но грунтовые воды стоят у самой поверхности. А на самом болоте растут корявые чахлые сосенки. Они и умирают недорослями; подгнившие стволы падают на белесый торфяной мох, пропитываются водой и вскоре истлевают; так в болоте напластовывается торф. Сейчас этот пласт уже толст, окон в трясине осталось немного, и ступать по болоту можно без опаски. Здесь находят пристанище звери, а вот местные жители почти не заглядывают на болото, хотя клюквы на нем видимо-невидимо.

Болото пользуется дурной славой. Полно в нем неразорвавшихся снарядов и бомб, оставшихся в трясине с войны. Когда в тот засушливый год загорелся торфяник, взрывы два месяца сотрясали окрестности. Не нашлось смельчаков, которые

бы сунулись на болото, и пожар в конце концов погас сам собой. Но и сейчас люди обходят болото — ведь неизвестно, какие еще в нем таятся опасности.

На южной стороне болота есть островок — песчаный пригорок на самом его краю, который местные жители называют Кочкой. От тропы, петляющей по берегу Немана, отделяет его метров двести трясины. Если здесь взобраться на сосенку, можно окинуть взглядом все болото. Все в голубых клочках открытой воды и зеленых купах хилых сосенок, простирается оно без конца и края — не отличишь, где же вдали кончается топь и начинается твердь, сухой лес или небо. А на юге, рукой подать, спокойно несет свои воды Неман, скрытый за зарослями ивняка, а чуть поодаль, ниже по течению, торчит из этих кустов искореженный металлический остов. Там когда-то был мост; его взорвали еще в сорок первом, а потом не восстановили — шоссе прошло стороной.

В тот день на болоте оказались шестеро: Вилюс Арвидас, лесничий, и Ричардас Станюлис, журналист, — оба с женами и сыновьями. Попали они сюда по воле случая. Приехали отдохнуть в Палангу, поселились по соседству и подружились. Скверная погода — дождь лил каждый день с утра до вечера — помогла им сойтись, и вскоре соседи помогали друг другу коротать скучные дни запоздалого отпуска. С курорта они решили уехать. Ричардас Станюлис предложил по дороге домой насобирать клюквы. Он знал славное для этого местечко по рассказам…

Утром ненастное небо снова обещало дождь. Однако к концу дня ветер разогнал тучи, оголив по-осеннему тусклое небо, и лишь на западе еще алели прозрачные перья, сплетенные в кудрявые, взъерошенные по краям гирлянды. Они висели неподвижно. А может, так только казалось — облака были очень уж далеко, наверно, над морем.

Голубые тени, отбрасываемые негустыми кронами сосенок, все удлинялись, наконец слились воедино, рваным покрывалом застлав порыжевшие кочки. Клюквины прятались в пропитанном водой мху и казались бурыми, как болотная вода. А извлеченные на свет, алели, словно капли крови. В ведре ягоды снова пригасали.

Клюквой была густо усыпана каждая кочка. Мужчин охватил неуемный азарт, возникающий в такие минуты, когда времени в обрез, а работы еще непочатый край, и ты спешишь, зная, что все равно не успеешь…

А маленькие сыновья не столько собирали ягоды, сколько прыгали наперегонки с кочки на кочку. Одно горе с ними — оба уже успели промокнуть до пояса; правда, не зябли, только

раскраснелись от беготни на чистом воздухе. Отцы все унимали их, стращая змеями, для которых здесь на самом деле было слишком мокрое место. Хорошо, что дети скоро устали.

Сейчас мужчины собирали клюкву у самого островка. А на нем остались женщины — готовили ужин. Горел костер, шипел пропитанный водой хворост, хотя на первый взгляд эти сучья казались совершенно сухими. Странное дело — трава на острове, несмотря на дожди, так и не ожила после летней засухи, рыжела высохшими пучками.

В ожидании мужчин, забывших все на свете, кроме ягод, женщины успели сделать бутерброды и вскипятить чай. Вместо стола хозяйки расстелили на земле газеты, пришпилив их по углам сучками, а скамьи заменял прикрытый надерганной травой валежник.

Наконец-то вернулись мужчины. Поставили ведра, до краев заполненные клюквой, поручили детей опеке мамаш и уселись отдохнуть.

В тишине раздавалось лишь потрескивание огня. А со всех сторон обступали их сосны, багровые в свете костра и закатного солнца. Ветер играл отшелушившимися пластинками коры на стволах; они уютно блестели в этом вечернем освещении.

Над болотом поднялся густой белесый туман. Исподволь, закрывая до половины сосенки, полз он к реке, а от Немана уже надвигался другой вал. Туман колыхался, и казалось, что деревья медленно уплывают в речную долину, покачиваясь на полупрозрачных волнах.

Вилюс Арвидас глядел на стелющийся туман, на ярко пылающие облака, опустившиеся до самой земли, и думал, что он тысячи раз видел закат в лесу, в поле и обязательно в эти минуты любовался им; любовался, когда никого рядом не было, ни души, когда кругом царила тишина… Как прекрасна первозданная природа!.. А вот с Ричардасом не поделишься этим чувством, даже не скажешь «Какая красота!», потому что журналист приведет к случаю изречение какой-нибудь знаменитости, и вся красота сразу померкнет. Почувствуешь, что не умеешь так точно (и изящно) выразить свое чувство, рассердишься, и даже пройдет охота любоваться…

А Ричардас Станюлис, кажется, догадывался, о чем задумался Вилюс.

Посматривал на него с усмешкой. Немного деланной, правда; Вилюс подметил эту иронию уже в первый день их знакомства. Вот и сейчас Ричардас с привычной насмешливостью предложил:

— Ладно уж, поделись воспоминаниями, как в детстве на болоте клюкву собирал!..

Вилюс вытянул уходившиеся за день ноги.

— Могу придумать, если нужно для твоего очерка. Хотя, по правде, не собирал клюквы, вокруг нас были сосняки. Песок. А всей воды — мелкий ручеек, больше смахивающий на канаву. Я даже плавать толком не научился.

— Тогда поделись, как по грибы ходил. Подосиновики, подберезовики, лисички и всякие там маслята… Почему молчишь? Обстановка-то ведь подходящая: вечер тихий, даже комары не кусают, — не унимался Ричардас.

— Не хочется. Прошлое… Ты больше мог бы рассказать всякого, ведь ездил много.

— Ничего путного не могу придумать.

— А зачем придумывать? Ты ведь журналист… — бесстрастным голосом сказал Вилюс.

Ричардас только плечами пожал.

А Вилюс усмехнулся. До сих пор Ричардас мало говорил о своей работе. Разумеется, много ли интересного видит журналист, пишущий о сельском хозяйстве? Во всех статьях одно и то же: больше молока, мяса, зерна; сев, уборка, кормление, дойка; позор разгильдяям и расхитителям… Слушателя этим не разволнуешь, Вилюс так и сказал Ричардасу, когда разговор зашел об этом.

— А эти развалины могли бы и убрать, — сказал Вилюс, решив сменить тему. — Хоть они и оживляют пейзаж, напоминают о былом.

— Ты о мосте?.. История простая: взорвали наши во время отступления.

— Оказывается, и ты кое-что знаешь!.. — удивился Вилюс. — Не только сочиняешь в своих статьях…

— Случайно узнал. Ездил в соседний колхоз к мелиораторам. Прораба не застал, а без материала возвращаться не хотелось. Заглянул к следопытам восьмилетки. Хороший музей они создали, я об этом писал… — Ричардас помолчал. В его голосе не было всегдашней иронии. — А вообще-то толком знаю только главные сражения, как и ты. Школьный учебник истории, страница такая-то, несколько строчек. О мостах в учебниках не пишут. Места бы не хватило…

— Мужики, хватит воевать! — окликнула их жена Вилюса. — Чай стынет!

— С женщинами, ясное дело, не повоюешь, — пошутил Вилюс. — Они велят вовремя есть, вовремя спать… Буры когда-то проиграли войну с англичанами только потому, что таскали с собой пожитки и своих жен…

Его слова прервал сухой щелчок. Невероятно громким был

этот щелчок, наверно, потому, что никто не ждал его в этой тишине.

Вилюс поднял голову.

На другом краю островка, шагах в двадцати, стоял его сынишка и сжимал в руке гранату. Фигуру мальчика освещало трепетное пламя костра.

А в это время падал огромный темнокрылый мотылек. Крылья его уже лизнул яркий огонь, а мотылек падал и все не мог упасть, повис в воздухе. Мотылек не махал крыльями, и пламя не занималось ярче. Мотыльку было страшно так долго падать в жгучее солнце.

Ветер совсем затих, и было темно вокруг. А вылетевшая из костра искорка горела без треска, ровным огнем, как подвешенный на парашюте фонарь, такой яркий на фоне черного неба.

После щелчка прошла минута, другая, третья.

Граната должна была взорваться через три секунды. Вилюс знал это, бросал точно такие гранаты в армии из глубокого окопа, и едва успевал нагнуться, выпустив ее из пальцев, как осколки со свистом проносились над бруствером… А сейчас он не мог шевельнуться, хотя хотел кинуться к сынишке. Три секунды — очень много и очень мало, но надо успеть…

И человек в заляпанной грязью солдатской одежде, видно, знал это назубок. Бросился к оцепеневшему ребенку, вырвал из руки гранату и, почти не замахиваясь, зашвырнул ее в болото.

Тотчас взлетел столб воды и ила. Эхо взрыва не вернулось назад.

Чай был горяч. Солдат пил не торопясь, сжимая в ладонях кружку, словно грел озябшие руки. А вечер был теплый, и костер горел жарко. От мокрой одежды солдата шел пар.

Женщины предлагали солдату колбасы, нарезанного ломтиками окорока, но тот отказался, только попросил еще кипятку. Достал из кармана галету, жевал ее, то и дело макая в чай. И женщины замолчали, боясь обидеть солдата преувеличенным радушием (еще подумает, что это плата за подвиг), не зная, как отблагодарить его.

Тишина длилась долго; всем стало даже не по себе.

А Вилюс давно уже хотел спросить, что здесь делает солдат и как он столь незаметно и, главное, вовремя оказался на островке. Вилюс даже подумал, что это актер, что где-нибудь поблизости, может, у взорванного моста, обосновалась съемочная группа, ставит фильм про войну; но человек так решительно схватил гранату… Как настоящий солдат — уметь надо.

— Надо уметь… — вслух подумал Вилюс.

— Служба, — ответил солдат.

— Служите, значит?

— Воюем… Все воюем. Но лучше тем, что наступают. Отступать очень уж тяжело…

Солдат сосредоточенно глядел на темно-бурую, в темноте совсем черную воду болотного окна и думал, что побурела она не только от таящихся в земле вездесущих частиц железа: шли века, а в болотах тонули закованные в железо рыцари, редели здесь разноязыкие полчища. Ведь только за последние полвека два раза прокатился по болоту огненный вихрь, каждый раз оставляя в нем частицу своей нескончаемой ярости. Ярости, которую подавляли не болота.

— А мне почему-то подумалось — вы здесь на съемках. — Вилюс рассмеялся, ему почему-то стало легче, когда узнал, что солдат — настоящий солдат и просто исполнил свой долг. Да и актеры — народ интеллектуальный, с ними и разговор другой и обхождение, чувствуешь себя не в своей тарелке, когда общаешься со знаменитостями. — Хотя фильмы про войну тоже вещь хорошая. Люди должны знать о войне, о солдатской профессии. — Вилюс на секунду запнулся, подумав, что неверно выразился. — Да, тогда ничто не забудется. Сейчас много хороших картин о войне. — По правде, Вилюс не любил картины про войну, ходил на них редко, разве что на отмеченные на фестивалях. Но сейчас, когда солдат спас его сынишку, не с руки было говорить иначе.

Вилюс посмотрел на исчерна-бурую воду и подумал, что война кончилась уже очень давно. В сущности, вряд ли найдешь на земле место, где не гремело оружие. И может быть, эти вездесущие крупицы железа — просто изъеденные ржавчиной лезвия мечей, наконечники стрел и осколки ракетных снарядов. Если начать вспоминать, придется вспомнить очень о многом, а все было так давно, что скоро нигде на нашей земле не останется невзорвавшихся гранат — их уничтожит время…

— В кино войну показывают, — сказал солдат.

— Смотреть страшно, — добавил Вилюс.

Звезды мерцали тускло, по-осеннему. За кругом, очерченным пламенем костра, застыла, напрягшись, темнота, лишь кое-где испещренная неподвижными огоньками — отраженными небесными светилами.

— Мне пора, — сказал солдат и посмотрел вверх, на звезды. — Пора.

— Переночевали бы с нами, — предложил Вилюс. — Места хватит, спальный мешок найдется. Куда вы теперь пойдете, тьма кромешная, чего доброго, в трясину угодите.

— Надо. — Солдат встал. — Служба, опаздывать не положено.

Солдат шагнул в темноту. Черный силуэт растворился в тумане. Мелькнул еще раз, закрывая отражение звезд в воде, и исчез. Вроде и не было человека.

— Я тут не заблужусь.

Эти слова прозвучали отчетливо, будто сказанные рядом, и люди на островке вздрогнули.

* * *

Мужчинам не спалось. Легли они вместе со всеми, проворочались с боку на бок битых полчаса, но сон не брал. Сейчас они сидели на валежнике у погасшего костра. Пойдут покурить — так сказали женам.

Вилюс дымил уже не первой сигаретой, все оборачиваясь к палатке, темнеющей в густом тумане. Изредка находило непреодолимое желание взглянуть на сынишку, он вставал и, подкравшись к палатке, прислушивался. Внутри было тихо. Сынишка спокойно сопел, наверное, так и не поняв, что ему грозило час назад.

— Противная работа у этого солдата, — сказал Вилюс. — Даже разу ошибиться нельзя.

— Как вовремя он подоспел… — наверно, в десятый раз повторил Ричардас.

— Вовремя…

Туман сгущался, плавающие ввоз-духе капельки увлажняли одежду, но мужчины не чувствовали ни сырости, ни холода. А за Неманом глухо грохотали взрывы, по небу блуждали лучи прожекторов — неяркие, размытые, как светлые полосы, прочерченные на плохой бумаге, Грозно рокотали тяжелые самолеты. Видно, там проходили маневры, и тысячи человек — солдаты, офицеры, генералы — не спали этой ночью.

— Даже ночью человеку выспаться не дают!.. — буркнул Вилюс.

— Бывает, эти занятия нужны и в мирное время… А тебя, видно, мало старшина гонял.

— Я санитаром был, — огрызнулся Вилюс.

Ричардас промолчал.

— Лучше вообще не было бы армий! — снова сказал Вилюс.

— Может, и не будет когда-нибудь. Забудут люди про войну. Станут…

— Журналистами!.. — торопливо вставил Вилюс,

обрадовавшись случаю сменить разговор. И почему он сам не бросился тогда к сынишке?..

Вдали все грохотали взрывы, а ночные птицы на болоте молчали.

— Это уж кто кем захочет… — протянул Ричардас.

В стороне моста внезапно взметнулся слепящий столб пламени. Белый неестественный свет озарил болото, и мужчинам показалось, что остов моста ожил, взметнулся в воздух и застыл в одно мгновение.

Долетела запоздалая взрывная волна.

— Неужели… ошибся? — прошептал Вилюс.

— Наверно, учебная грохнула. Или зверь какой на мину напоролся, — спокойно возразил Ричардас.

— Завтра с самого утра уходим отсюда.

— Да уж, после этого клюкву собирать не станешь… Такое впечатление, будто на фронт угодили.

— Какое счастье, что можно идти спать и завтра мирно проснуться, — улыбнулся Вилюс.

Этот взрыв был последним. Стало совсем тихо. Погасли лучи прожекторов — одновременно, вместе с эхом взрыва.

Еще тоненьким голоском пискнула иволга и тут же замолкла — видно, решила, что не годится ей, дневной птице, голосить посреди ночи.

* * *

До шоссе было далеко. Гуськом шли они узкой тропой, протоптанной через поле, и Вилюс шагал последним. Дети скоро угомонились и стали ныть, но матери молча тащили их за ручонки, будто боясь опоздать. А спешить было некуда.

Наконец-то показалось шоссе. Издали светилась автобусная остановка, отмеченная желтым диском.

Доска с расписанием облупилась, но Ричардасу удалось кое-как разобрать что автобус на Вильнюс придет через час. Он огляделся.

Вилюс стоял в стороне и глядел куда-то вдаль.

— Послушай… — сказал, подойдя к нему, Ричардас. — Нет, пожалуй, не стоит…

— Да говори.

— Ерунда, — махнул рукой Ричардас. — Правда, иногда всякая чепуха в голову лезет. Даже странно… Давай погуляем, чего тут торчать…

Вилюс послушно последовал за Ричардасом.

Шагали они по обочине шоссе. Прошли довольно далеко, но Вилюс ни о чем не спрашивал — куда они идут, что хотел сказать Ричардас. Пожалуй, Вилюс даже не заметил, как далеко они ушли от остановки.

— Мне все время кажется, что я уже видел этого солдата, — наконец заговорил Ричардас. — Действительно странно.

— Надо было спросить.

— Я только сегодня вспомнил.

— Много ездишь. Встречаешься с людьми.

— Вот именно, встречаюсь…

Чуть поодаль от шоссе стояло длинное кирпичное здание, обнесенное живой изгородью из боярышника. Во двор вела посыпанная щебнем дорожка.

— Школа, — пояснил Ричардас. — Зайдем?

Вилюс только пожал плечами. Времени еще было много, и ему все равно, куда идти. Не хотелось возвращаться на остановку, ему не о чем было говорить с женой.

Коридор с белыми стенами, на которых висели плакаты, диаграммы и стенгазеты, пустовал. Только в классах, за дверьми, на которых чернели таблички со светлыми римскими цифрами, приглушенно звучали голоса учителей.

— Все на уроках, — сказал Вилюс и почему-то грубо добавил: — А ты, конечно, вздумал корреспонденцию накатать? На автобус не успеем.

— Надеюсь, дверь не заперта…

Вилюс не понял.

Ричардас толкнул одну из дверей, и она приоткрылась.

На полках были разложены искореженные шлемы, ржавое дуло пулемета, осколки снарядов, пожелтевшая тетрадка. Напротив, на стене, висел большой портрет солдата, видно, переснятый со старой фотографии.

— Я знал, что это он, — негромко сказал Ричардас. — Не ошибся…

Под портретом чернела надпись: «Погиб 22 июня 1941 года, взрывая мост с фашистскими танками».

— Нет! — закричал Вилюс. — Нет!..

С литовского перевел Виргилиюс Чепайтис

1977, № 9

Дмитрий Де-Спиллер
САМОСИЯЮЩИЙ ЭКРАН

Возле Ч-сского звездного скопления на небосводе чернеет круглое черное пятно. Астрономы именуют его по-разному, преимущественно с помощью совершенно неудобопроизносимых буквенно-числовых комбинаций.

Но иногда они не отвергают и его древнего имени «Щит Аластора», которым, впрочем, пользуются редко. Щит Аластора представляет собою гигантскую, более десятка световых лет в поперечнике, тучу черной пыли. Химический состав ее еще недавно не был никому известен, ибо спектральный анализ не властен над объектами, не испускающими и не отражающими света. А именно таковым был до недавнего времени Щит Аластора. И от этого он виделся в телескопы абсолютно черным, как смоль.

Надо сказать, что Щит Аластора отнюдь не является единственным черным пятном на небосводе. Точно таких же пятен имеется довольно много. Все они черны, как ночь, и это их свойство запечатлено в старом-престаром анекдоте про одну экзальтированную даму. Наглядевшись в телескоп на звезды, она не удовольствовалась, однако, испытанным впечатлением, но стала требовать от астронома, чтобы он показал ей «бездонную глубь мирового пространства» Куда бы ни поворачивал бедный астроном свой телескоп, дама выражала возрастающую досаду, ибо всюду светилось множество звезд. Наконец астроном нашелся. Он направил телескоп на одно из таких черных пятен, и дама пришла в восторг. «О, теперь я вижу подлинно бездонную глубь мирового пространства!» — воскликнула она и осталась

премного довольна.

Мы не знаем, было ли увиденное этой дамой черное пятно Щитом Аластора или нет. Однако если бы именно на него направил свою трубу находчивый астроном и если случай этот происходил не много столетий назад, а 16 апреля ***-го года, то дама, жаждущая узреть самую глубь мирового пространства, увидела бы нечто, быть может, менее величественное, но не менее поражающее воображение.

В беспредельной небесной пучине она увидела бы невообразимо огромное изображение пожилой четы, сияющей торжественной радостью. Должно быть, это муж и жена. Он, с взъерошенными волосами, в черной коротайке, с огромным букетом стоит, опершись на плечо жены. Она сидит. Ее круглое лицо сияет. В волосах цветы. На ней широкое шелковое платье. Лица супругов озарены светом, лучи которого, падающие сверху, намечены ровными черточками, и над ними светятся обозначения в двоичной системе каких-то чисел.

Увидев это изображение, дама из анекдота, без сомнения, удивилась бы стократ меньше, чем поражены были все астрономы Земли, узнав, что утром 16 апреля ***-го года Пулковская и Аризонская обсерватории зарегистрировали на поверхности Щита Аластора эту оригинальную чету.

Принадлежность изображения именно поверхности Щита Аластора, а не какому-либо другому, более близкому экрану, была вскоре установлена многими способами и с абсолютной достоверностью. Но в таком случае размеры изображения должны были в несколько раз превосходить размеры солнечной системы!

Как только это изображение было замечено и с него были сделаны первые снимки, архивариусу Всемирного Исторического архива — Андрею Степановичу У идольскому — было поручено разыскать материалы, могущие иметь к изображению этому какое-нибудь отношение. Ундольский тотчас сел за составление формализованных заданий для электронных поисковых машин, а написав и приложив к ним фотографии, он отрядил семерых своих помощников на работы с машинами. Через пять часов на его рабочем столе лежала сводка результатов электронного поиска. В ней утверждалось, что появившееся на Щите Аластора изображение было портретом супругов Михаила и Антонины Киселевых — родителей Алексея Киселева — космонавта, полетевшего 615 лет тому назад на одноместном субсветовике к Ч-сскому звездному скоплению.

Получив эти сведения, ученые Земли стали гадать, каким образом Киселев мог создать такое огромное изображение. Сперва это казалось совершенно невообразимым. Между прочим,

ученым удалось установить, что числами в двоичной системе, помещенными вверху картины, указаны длины некоторых электромагнитных волн. Это обстоятельство позволило известному астрофизику доктору Филиппу Травочкину высказать предположение, что те электромагнитные волны, длины которых указаны на картине, возбуждают в веществе Щита Аластора какую-то химическую реакцию, связанную с выделением световой энергии, но не растекающуюся во все стороны, а лишь по направлению движения вызвавшей ее волны. И, как показали некоторые расчеты, по этому направлению она должна была распространяться почти с половинной скоростью света. Пустив однажды изнутри Щита Аластора конусовидный дискретный пучок лучей, соответствующих имевшейся у него фотографии, Алексей Киселев, как предполагал Травочкин, возбудил в частицах межзвездной пыли самоподдерживающуюся химическую реакцию. Распространяясь с половинной скоростью света, эта реакция достигла наконец окраин пылевого скопления и вырисовала на них увиденное с Земли грандиозное изображение.

Но каким образом Киселев мог создать несметное множество лучей требуемой длины волн? На этот вопрос гипотеза Травочкина не давала ответа. А между тем, чтобы это сделать, потребовалось полгода напряженной, кропотливой работы, к которой Киселев приступил сразу же после того, как Автолик обнаружил среди прочих свойств окружающей корабль межзвездной пыли особенность, верно угаданную доктором Травочкиным.

Автолик был четвероруким компьютером, недостаточно сложным, чтобы в нем можно было заподозрить способность что-либо чувствовать. К слову сказать, что касается автора, то он глубоко сомневается в способности каких угодно компьютеров что-либо думать и чувствовать, хотя понимает, что со временем они научатся писать превосходные романы. Но внешние действия и сами мысли и чувства — это все-таки разные вещи… Однако мы уклонились в сторону. Про Автолика же надо сказать, что он не только романов писать не мог, но и разговаривать толком не умел, предпочитая изъясняться формулами и числами. Неудивительно, что, когда он сделал свое открытие, Киселеву стоило немалого труда уразуметь, что же, собственно, такое он высвечивает. Начало горящей на Автоликовой спине надписи было понятно: «Если осветить забортовую пыль лучами с длиной волны либо 560, либо 622, либо 887, либо 5928 ангстрем, то…», а дальше шли такие сложные формулы, что темнело в глазах. Все же наконец Киселев понял, в чем дело, и они вместе с Автоликом стали искать по всему кораблю вещь, по цвету соответствующую

волне в 5928 А. Найти такую вещь было непременно необходимо, чтобы проверить Автоликово утверждение на опыте. Дело в том, что на корабле не было приборов, способных создать лучи нужной частоты. Гордость Киселева, портативный лазер, собственноручно им изготовленный незадолго до старта, выстреливавший тончайшие, как паутина, лучи на невообразимое расстояние, не мог, к сожалению, генерировать ни рентгеновских лучей, ни лучей с длиной волны большей 5000 А. Вообще, на борту корабля не имелось никаких источников рентгеновского излучения. Ввиду всего этого, единственным способом проверить открытие Автолика — было найти желтый предмет, цвет которого соответствовал бы волне в 5928 А, и осветить отраженным от него светом космическую пыль. Хотя наличие на корабле предметов с необходимыми для такого эксперимента свойствами почти было невероятно, один такой предмет все же отыскался.

Среди гибких, прозрачных пластинок с голографическими портретами родных и знакомых Киселева была одна поблекшая и пожелтевшая. Автолик объяснял, что пожелтела она от некоторых ингредиентов, взятых для ее изготовления. Как бы то ни было, но портрет Михаила и Антонины Киселевых, снятых в день их серебряной свадьбы, почти всей своей поверхностью отражал свет с длиной волны в точности равной 5928 ангстрем.

Первое, что сделал Киселев, когда это выяснилось, — слегка согнул портрет двумя пальцами, и поставил его против иллюминатора, осветив фонарем. И тотчас в бархатной черноте вспыхнула уходящая в невообразимую даль белесая полоса. Тогда Киселев положил портрет на стол, сел рядом в кресло и погрузился в размышления: «Если я выгну пластину в виде куска сферической поверхности и освещу ее перед иллюминатором, — думал он, — то возникшая химическая реакция распространится внутри исполинского конуса. Достигнув краев пылевого скопления, она создаст там огромное светящееся пятно, размеры которого будут зависеть ох того, куда я поверну пластину. Если я обращу ее к Земле, то размеры пятна будут относительно небольшими, ибо расстояние до границ пыли в том направлении еще невелико. Но если я поверну ее в противоположном направлении, то пятно выйдет, пожалуй, вдесятеро больше…»

Внезапное сомнение прервало вдруг рассуждения Киселева, и он крикнул Автолику:

— Послушай, ведь Щит Аластора освещен и лучами от звезд и от нашего корабля. Среди них имеются и лучи в 5928 ангстрем. Почему же они не возбуждают никакой реакции?

— Потому, что реакция гасится другими лучами. Надо, чтобы все посторонние лучи составляли лишь малую часть общего

светового потока, — отвечал Автолик. Киселев кивнул головой и вернулся к прерванным мыслям: «…Если на обратной стороне Щита Аластора засияет такое огромное пятно, — рассуждал он, — то разумные обитатели Ч-сского звездного скопления, коль они существуют, непременно его заметят. Но в простом белом пятне много ли корысти? Нет. Так что же делать?..» И тут Киселев придумал свой оригинальный способ самооповещения: при помощи гальванопластики он покрыл верх портрета тонким серебряным слоем и, приспособив надлежащим образом свой лазер, стал выжигать им в серебре сотни тысяч крохотных дырочек. Это был огромный труд! Полгода с неослабным прилежанием трудился Киселев и достиг наконец идеального сходства между микроскопическим сквозистым узором на серебре и самим портретом: именно, где портрет был светлее, там и дырочек было больше. С краю серебряного слоя он наметил чертами лучи и выжег двоичные обозначения длин вызывающих реакцию волн, выраженных в поперечниках протона, а также других элементарных частиц. Когда же работа была окончена, Киселев растянул портрет на сферическом стекле, остановил свой корабль и послал в космос шесть идентичных изображений: одно — в направлении Земли, другое — по ходу корабля и четыре — в плоскости, перпендикулярной направлению полета.

Позже всех, очевидно, засветилось самое большое изображение, посланное по ходу корабля. Однако пройдет еще много лет, прежде чем его смогут увидеть предполагаемые обитатели Ч-сского звездного скопления. Но если это случится, то они, несомненно, разгадают физический смысл представившегося им явления и проведают про самосияющие экраны, с помощью которых далекие друг от друга миры могут вести между собой разговоры.

Дмитрий Карасев
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Сергей открыл глаза. На глиняном полу, рядом с его рукой, дрожали зеленые и желтые пятна света. В дверной проем заглядывал яркий шар. Где-то рядом стучали молоты. Сергей встал и сделал три шага к двери.

Сруб нагрет, от него тепло рукам и щеке. Длинный лист, похожий на пальмовый, покачивается от влажного ветра вместе со своей полупрозрачной тенью. Перед хижиной площадка, на другом краю которой мечется пламя в горне, звенят молоты, жарко гудит наковальня. Земля поворачивается перед глазами, как в неокончившемся сне. Справа, из-за рядов зеленых кустов, напоминающих огородные грядки, поднимается вверх огромная металлическая колонна.

В двадцати метрах от Сергея смуглые кузнецы что-то гнут, рубят, мнут молотами. Кто они, эти кузнецы? Что они там гранят тяжелыми молотами, мотающимися, как маятники, в бронзовых руках? Похоже на браслеты; и еще лежат тут же несколько наконечников. Кажется, ясно. Браслеты для женщин, наконечники для копий. Итак, он подоспел к самому началу железного века. Где он? И что произошло?

Вслед за сознанием медленно возвращается память. Так вот оно что! Металлическая колонна справа — это ракета. Его ракета. Он помнит грохот и удар, разорвавший нервы и ткани тела, как ниточки. И синюю электрическую вспышку, после которой наступили темнота, сон, небытие. А ракета продолжала лететь.

Автоматы жизнеобеспечения заботились о нем и после аварии. Он летел, оберегаемый ими. Ракета совершила аварийную посадку. Но куда? Связь наверняка вышла из строя: ведь в момент аварии он был как раз в радиоотсеке. Значит, запросить базу нельзя.

Когда это произошло? Долго ли летел? День, два, три? А если годы?

Сергей представил себе, как ракета повисла в воздухе перед самой посадкой. Наверное, отсюда, где он сейчас стоит, она похожа на наконечник шприца, изливающий синее пламя. В эту минуту, в тот миг, когда ракета повисла, словно в раздумье, от нее должен был отделиться маленький белый кружок. Автоматы должны были выбросить аварийный буй с рацией — на случай катастрофы при посадке. Буй должен быть где-то рядом, нужно найти его.

Сергей шагнул из хижины и почувствовал, как плечи сжало стальными тисками. Его взяли за руки, за одежду, за плечи. Он подумал, что, наверное, у него сломано предплечье: когда попытался вырваться, резкая боль вошла в левую руку, как нож. Он слабо вскрикнул — не от боли, от неожиданности. Его отпустили. Это был плен.

Сергей стоял перед утоптанной земляной площадкой с пылающим горном и приходил в себя. Вот и аварийная рация, он узнал ее по антенне, торчавшей как удочка или копье. Рядом куски обшивки буя, коробки с запасными комплектами. Наверное, не так-то легко перековать их на женские браслеты.

В ажурной тени деревьев, напоминающих пальмы-асаи, играют дети. Со страхом и любопытством смотрят на Сергея женщины. Под циновкой — мертвый юноша. Смуглые лица мужчин суровы. Чьи-то руки подталкивают Сергея к наковальне. Для них он Человек, прилетевший с неба. Аварийная антенна (последняя надежда на связь с Землей) — это копье Человека, прилетевшего с неба. Потому что буй, отделившись от ракеты, стал случайной причиной гибели их соплеменника. Теперь кое-что становится ясным: ему, по-видимому, хотят оказать небольшую услугу, поскорее отправив обратно на небо. Но тогда почему они не сделали этого раньше? Пока к нему не вернулось сознание?

Прозвучала глухая барабанная дробь. И едва смолкли последние звуки, как на пустовавшее место посреди площадки величественно поднялся некто, притягивающий взоры собравшихся. Сидя на кожаном кресле, напоминавшем огромных размеров седло, он на целых полметра возвышался над остальными. Мощное тело его олицетворяло надежность и вселяло гипнотическую уверенность в его силу; на лице застыло выражение торжества, свидетельствовавшее о преодоленных трудностях на пути к истине.

Кто-то показал ему пальцем на Сергея, и он важно кивнул головой. Затем ему поднесли длинную жердь с пучком тлеющей шерсти на конце, и он, встав со своего места, величественно прошелся по кругу, вращая концом палки.

— Нгомо! Нгомо! — закричала толпа, и женщины попадали на колени, чтобы до конца священнодействия возносить слова благодарности ученейшему из племени (очевидно, знахарь, догадался Сергей).

Между тем обряд прорицания и открытия истины требовал еще и каких-то неведомых Сергею действий. Нгомо укрепил жердь посреди площадки. Затем ему поднесли большую деревянную чашу, наполненную до краев темной жидкостью. Он

поставил чашу у ног, потом наклонился над ней, издал не совсем понятные звуки. Приложившись к чаше, он закружился вокруг шеста, и его волосы заволокло дымком от тлеющей шерсти.

Раскачиваясь все сильнее, он постепенно приходил в экстаз, не забывая, однако, время от времени приближаться к чаше, опускаться перед ней на колени и прикладываться.

В руках у него появился амулет, напоминавший змеиную шкуру, и он размахивал им в такт движениям тела, и ритм их все убыстрялся и убыстрялся.

— Нгомо! Нгомо! — потрясая воздух, кричала толпа, инстинктивно повторяя, копируя невероятно сложные, почти немыслимые телодвижения знахаря.

Наконец его движения стали замедляться, лица смотревших на танец приобрели выражение крайнего внимания и напряжения, окаменели. Вполне возможно, они ждали пророчеств и откровений надеялись на них, стремились к ним.

Нгомо, остановившись в непосредственной близости от священной чаши, указал пальцем на Сергея, потом на небо. Его перст уткнулся почти в зенит (логично, подумал Сергей, теперь он владел собой и истина начинала открываться во всей, казалось, полноте).

Очевидно, устав от пророчеств и попыток проникнуть в свершившееся, Нгомо снова вспомнил о чудодейственном напитке и принялся за него. Он опустился на колени и стал жадно глотать, плескаясь и булькая, разбрасывая веер брызг. Он почти захлебнулся. Жидкость потекла назад. Это, однако, не остановило Нгомо. Он неистово продолжал глотать и глотать зелье, точно повинуясь настойчивому приказу свыше.

Так продолжалось до тех пор, пока лицо духовного наставника не стало сначала светло-желтым, а затем и зеленоватым.

Однако ритуал открытия истины на этом не кончился.

Приблизившись к юноше, которому он за несколько минут перед этим бросил амулет, Нгомо что-то крикнул, резко толкнул его, тот удалился к женщинам А Нгомо дважды прокричал что-то неразборчивое, упал на заботливо приготовленные для него циновки и мгновенно заснул.

Бронзоволицые конвоиры молча указывают пальцем на антенну.

«Защищайся, воин, — говорят их красноречивые взгляды, — подними свое копье!»

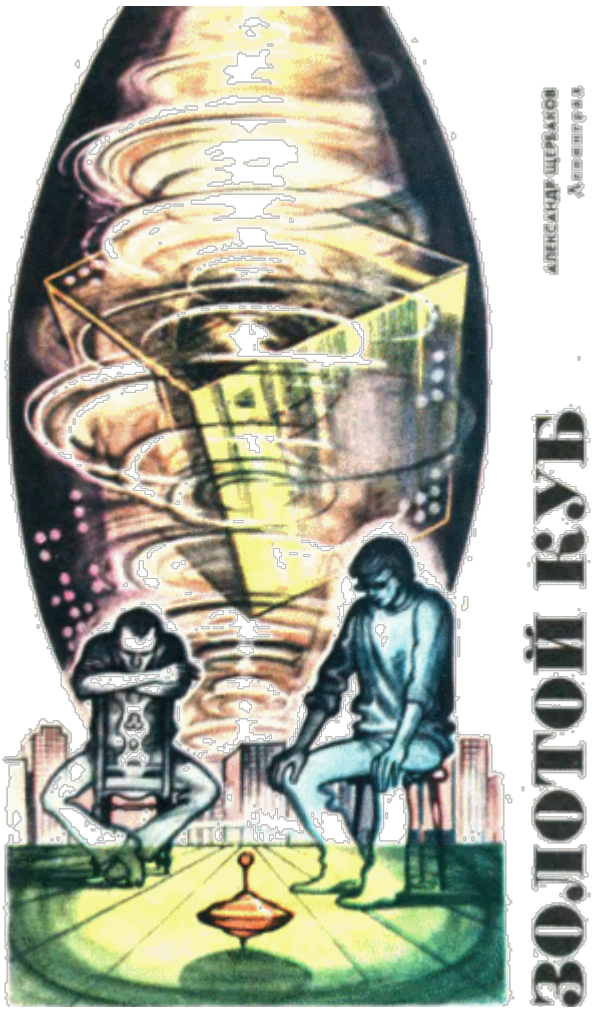
Так вот почему его не убили там, в хижине, или еще раньше. Вот почему они не тронули рацию. Здесь, на заре каменного века, убийство безоружного считается бесчестным делом!

Опустились и замерли молоты. Сорвавшийся с дерева лист медленно опускается на траву. Можно успеть убить четверых, прежде чем лист коснется земли. И добежать до ракеты. А там-то уж! Сергей знает: мышцы можно заставить отдать всю силу в одном коротком порыве, удары будут смертельны и быстры, как молнии. Он успеет убить четверых и останется жив. Но как после этого встретят здесь тех, кто прилетит позже, следующей ракетой? И разве игры смерти, игры войны — это не запрещенные игры? Но как это разъяснить им? Как доказать, что он не воин? Нужно доказать это. И немедленно. Иначе будет поздно.

Упавший лист опустился на траву. Мгновение — и точным движением он выхватил молот у кузнеца. Молот коснулся звенящей наковальни. Еще мгновение — и он смял аварийную антенну, расплющил в серебристую ленту последнюю надежду на связь. Он смял ее в бесформенный кусок и отшвырнул в сторону. Когда на наковальне погасли искры Сергей выпрямился. Теперь он был безоружен. Большего он сделать бы не смог.

Послышался возглас на ломаном испанском или, может быть, французском. Значит, ракета повернула к Земле? Повернула — и опустила его где-нибудь в девственном лесу Южной Америки? Или Африки? Ну так какая, собственно, разница?

1977, № 10
Александр Щербаков
ЗОЛОТОЙ КУБ



Вы меня, товарищи, простите, но я должен отвлечься несколько от нашей научной темы и рассказать вам кое-что из юмористической, если хотите, трагедии жизни Александра Балаева. Именно юмористической, именно трагедии и именно про стоп-спин.

Недавно один писатель подарил мне книжку. Про Галилея, Ньютона, Чижевского и меня. Так мне, знаете, неудобно как-то стало. Будто смотрю я на президиум физики, сидят там все люди

солидные, степенные, вдвое больше натуральной величины, а сбоку в кресле болтает ножками какой-то шалопайчик в коротких штанишках, сандалики до полу не достают. «А это, — говорю, — что за чудо морское?» — «А это, — отвечают, — и есть вы, Александр Петрович Балаев, замечательный и заслуженный физик нашего времени». — «Да какой же это физик! — кричу. — Это же попрыгунчик какой-то, молоко на губах не обсохло. Случайный кавалер фортуны». — «А это, — говорят, — ваше личное мнение, которое никого не касается. Вы, пожалуйста, не усложняйте вопроса, Александр Петрович, и не мешайте наглядной пропаганде образцов для нашего юношества». И убедительно излагают окружающим невероятную историю, будто я с детства задумчиво глядел на вертящийся волчок. А меня как холодной водой обдает. А вдруг это и не выдумки, вдруг это я сам по божественному наитию высказал когда-нибудь, а до них дошло. На волчок иначе как задумчиво и смотреть-то, по-моему, невозможно. Только задумчивость эта какая-то не такая, не дай бог никому: сидишь и ждешь, когда же это он дрогнет и начнет покачиваться. Нетворческая задумчивость.

А по правде говоря, или, как это мне сейчас представляется, вся история началась, конечно, не с волчка, а со студенческих времен, с того самого вечера, когда в общежитии мы, изнывая от безделья, смотрели по телевизору инсценировку по Уэллсу. Помните, там есть у него рассказ про человека, который мог совершать чудеса. Смотрели мы и от нечего делать изощрялись в остроумии, и когда герой под конец остановил вращение Земли, и все понеслось в тартарары, и море встало на дыбы, — здорово было снято, как сейчас помню, — кто-то ляпнул: «Эх, плотину бы сюда!» Кто-то добавил: «Да турбину бы сюда». И кто-то кончил: «Ну и чаю мы с тобою наварили бы тогда!» Все, конечно, грохнули. Может, это само так получилось, может, чьи-то вирши припомнились, не знаю. Я по стихам неспециалист. Но эти стишки в память мне запали. Вместе с видом моря, вставшего на дыбы. И посредством этого аудиовизуального воздействия, как тогда говорили, выпала во мне в осадок четкая логическая цепь: «Остановка вращения освобождает энергию, которую можно полезно использовать». Не от изучения маховика, хотя я его изучал. — ведь изучал же! — а от непритязательного и, собственно, не очень смешного анекдота. Так уж, видно, я устроен, что запоминаю не через обстоятельства дела, а через обстоятельства около дела. Так, значит, я с этой логической цепью и бегал, как сорвавшийся барбос, и висела она при мне без всякой пользы употребления, но, как говорят, весомо, грубо, зримо. Как не о чем становилось думать, хоть и редко это бывало,

все выводила меня память на эти дурацкие стишки. Бормотал я их, бормотал и автоматически принимался прикидывать, что бы такое крутящееся остановить да как бы получить такую волну, как там, в фильме, какую бы там приспособить плотину и турбину и в каком виде наварить означенный чай. Для пущей ясности даже кустарное начало к этим стишкам присочинил. «Твердое остановилось, жидкое бежать пустилось. Вот бежит оно, бежит, так что все кругом дрожит». А дальше уже про плотину и турбину.

И вот как-то опаздывал я на работу безнадежно и решил часок в парке побродить, чтобы потом разыграть в проходной сцену возвращения из местной командировки. Во избежание персональных неприятностей. Бродил, бродил и добродился до того, что начал эти стишки по обыкновению повторять. И — место я очень хорошо запомнил: такой склон, на нем здоровый пень, опилки свежие вокруг, — вдруг сообразил: электрон вращается вокруг оси? Говорят, вращается. А вот если это вращение остановить, что получится? Стал дальше соображать — ничего не сообразилось. С какой он скоростью вращается? Какая энергия во вращении запасена? И спин, он, конечно, спин, — веретено. — но ведь и говорится, что все это так, формально, а по сути дела… А что по сути дела? Да и потом спины равновероятно разориентированы. А сориентировать их можно? И стали меня мучить какие-то казарменные кошмары. Помните, там у Грибоедова сказано: «Он вас в шеренги три построит. И пикнете, так мигом успокоит». Представляете себе картину: все валентные электроны в металлическом кубике выстроены в этакое трехмерное каре — а-ля Луи Надцатый — вертящихся веретен. А. Балаев подает команду. Раз-два! Все веретена останавливаются — бах! — возникает всплеск освобожденной энергии, загораются лампочки, чайники кипят, троллейбусы бегают и т. д. и т. п. Отлично! А во что превращаются эти стоячие веретена, что являет собой электрон без спина? Теперь вы мне это на пальцах объясните, а тогда некому было. Человек, достойный этого дела, наверняка бы так не оставил, стал бы книжки читать, размышлять по ночам в супружеской постели. Может, темку бы открыл. А я бросил. Занялся люмонами, потом на волновые аномалии перебросился, потом… Потом много всего было.

Лет пять или шесть прошло. А может, и больше. Изредка я вспоминал всю эту историю, с энергией спина разбирался, картинку рисовал: электрон в виде веретена, вектор спина в виде копья и две-три школьные формулы: веер Филиппова, распределение валентных спинов по Джеффрису и преобразованную мной самим матрицу Бертье-Уиннерсмита.

И вот однажды застал меня за этим занятием Оскарик

Джапаридзе.

— Что это у тебя? — спрашивает.

Ну и выложил я ему всю эту альгамбру.

— Архимед, — говорит Оскарик, головой крутит и удаляется по своим делам.

Обозлился я. И задумался всерьез, как же все-таки поставить эксперимент. И вдруг пришла мне в голову ясная, отчетливая мысль. Как будто в мозгу какая-то перепонка лопнула. И все одно к одному, логично, очевидно. И выходит чудовищный результат: электрон с тормозящимся спином дает ориентирующее поле. Грубо говоря, сам по стойке «смирно» стоит и соседей заставляет. И начинается спонтанный процесс. И осуществляется видение о каре электронов.

Очумел я от этой мысли. «Наверняка, — думаю, — где-нибудь напорол. Пускай, — думаю, — полежит недельки три, угар сойдет, и поглядим».

Хожу как в полусне, дела не делаю, функционирую через пень колоду. Как дьюар: внутри все кипит, а снаружи жестяная банка.

И вот день на третий сижу я в курилке, и вдруг влетает туда Оскарик.

— Слышь, Сань, — говорит, — я тебя ищу, ищу. Куда ты подевался? Я тут сложил балладу. Смотри, что из этого получается.

И прямо на кафельной стенке начинает изображать. И так у него, хитрюги, все ловко выходит. И вдруг — спотык!..

— Брек! — говорю.

И на той же плитке начинаю его сигмы разгибать.

— Ах вот как! — говорит Оскарик. — Ну, как знаешь, как знаешь.

И сублимирует в неизвестном направлении.

Смотрел я, смотрел на его каракули, ничего не высмотрел и поплелся домой. Дома еще часа три ковырялся. «Нет, — думаю, — недаром тебя, Саня, отцы-профессора определили по экспериментальной части. Теоретик из тебя, как из шагающего экскаватора: за сто метров горы роешь, а под пятой лягушки спят». Стал я выписывать на лист слева свои закорючки, справа — Оскариковы. До середины дописал и все понял. И где я вру, и где Оскар врет, и что должно быть в действительности. Задачка — чистая арифметика, опыт — что поленья в печку класть. Сижу смотрю, очами хлопаю, а тут звонок. Телефон. Оскарик звонит.

— Санечка, — говорит, — а это вот не купишь? — И начинает мне те же выкладки теми же словами.

— У самого есть, — говорю, — дальше вот что.

— Альгамбра, — отвечает он. — Ты, Саня, голова, и я, Саня,

голова! А что из этого вытекает?

— А проистекает, — говорю, — то, что если ты немедленно ко мне не проследуешь, то я за себя не ручаюсь. Вплоть до ломки мебели и битья посуды. Нету никакой моей мочи перед лицом открывающихся перспектив…

По-честному, на этом вся история открытия и кончается. Без всяких там задумчивых волчков. Ей-богу! Ведь правда же, неинтересно! Ньютону хоть яблоко на голову упало — предмет эстетичный по форме и аппетитный по содержанию. А мне что прикажете? Так в веках и оставаться при кафельной скрижали из курилки? Осатанеть можно от тоски. Чем не юмористическая трагедия?

Ну ладно, сатанеть мы не будем. У нас для этого других причин достаточно. Я вам не случайно всю эту историю рассказывал, а в виде присказки. А сказка-то будет впереди. И не вся. Не вся, отрывок только.

Кончили мы с Оскариком расчеты в три дня, обоснование эксперимента написали и вломились к Земченкову, к Виктору Палычу. Да-да, к тому самому. Он уже членкором был, нашим замом по науке. Так и так, говорим, нужен нам для эксперимента ни больше ни меньше, а куб из золота с ребром в семьдесят сантиметров.

Он, душа, аж взвился:

— Да вы что, ребята! Вы понимаете, сколько он будет весить?

— Понимаем, — говорит Оскарик. — В исходном виде шесть и шестьдесят пять сотых тонны. Но это только в исходном, потому что мы его с трех сторон просверлим через каждые десять сантиметров сквозными каналами, чтобы обеспечить охлаждение жидким водородом и получить узлы массы. И штуцера приварим. Тоже золотые. Вот эскиз, посмотрите.

— Ох, люблю я вас, ребята! — говорит Виктор Палыч. — Очень вы хорошие ребята. А сколько будет стоить этот ваш кубик, вы себе отчетливо представляете?

— Это как сказать, — говорю. — Если по международному курсу, то шесть с половиной миллионов рублей без стоимости обработки. Ну обработка-то недорогая, тысяч двадцать потянет, спецсверла опять же делать надо.

— А больше вам ничего не надо? — спрашивает он. — Может, вам еще надо, чтоб «Зенит» чемпионом стал?

— Надо, — хором говорим мы с Оскариком. Но тут мы подумали: если немножко разорить у Благовещенского стенд и кое-что переделать, — немного, тысяч на двести пятьдесят — триста, — то мы обойдемся.

— Ах, обойдетесь! — говорит Виктор Палыч. — А что в

результате?

— А в результате, — говорю я, — будем иметь электростанцию на сто восемьдесят мегаватт с собственным потреблением сорок. Итого, чистый выход сто сорок мегаватт. Это с запасом. Три года можно так работать. А потом еще три года будем иметь сто пятьдесят мегаватт при собственном потреблении пятьдесят, но уже без запаса. А потом куб надо будет заменять, потому что он уже будет на треть палладий.

— Палладий, — говорит он. — Две тонны палладия — это тоже неплохо. Ну а какова вероятность успеха?

— Нас двое — природа одна, — говорит Оскарик. — Значит, вероятность успеха шестьдесят шесть и шесть в периоде. Иными словами, две трети.

— Ну вот и прекрасно, — говорит Виктор Палыч. — А знаете ли вы, какой годовой бюджет у нашего института?

— Знаем, — говорю. — Что-то около восьми миллионов.

— Вот именно, что около. Восемь миллионов сто двадцать шесть с половиной тысяч рублей. И за каждый рубль я сражался, как Илья Муромец. Так что ваши семь миллионов плюс столько же на непредвиденные расходы для меня добыть — ровным счетом никаких трудов не составляет. Да и вероятность какая! Балаев и Джапаридзе против матери-природы! Еще и половину меня запишите. Выйдет без малого семьдесят один с половиной процента! Все ясно… Все работы прекращаем, всех докторов и профессоров увольняем на пенсию, чтобы они институтское производство не загружали своими мелочами. Кстати, и у Благовещенского стенд отбираем, нечего ему с ортометронами возиться, когда нас такие идеи озаряют. И наваливаемся! Золото уже везут в спецвагоне, тридцать три богатыря его стерегут. Балаев и Джапаридзе у сверлильного станка на карачках ползают, стружечку золотую в мешочек собирают для отчета. И через полгода, от силы через три квартала, членкор Земченков включает рубильник. Гром и молния! И нас с вами в наступающей тишине остальными двадцатью восемью с половиной процентами невероятности по шеям, по шеям! Так, что ли, молодые люди?

— Да нет, — говорю, — не так, конечно. Но делать-то надо, Виктор Палыч! И меньшие размеры эксперимента ничего не дадут. Критический конус не развернется. Вы посмотрите расчеты.

— Посмотрю, — говорит Виктор Палыч. — Обязательно посмотрю. И не только я посмотрю, все посмотрят. Кому надо, те и посмотрят. А чего не поймут, молодые люди, так обязательно у вас спросят. И для начала, будьте любезны, вы расчетики свои приведите в божеский вид, размножьте экземплярах в двадцати,

как положено… Сколько вам на это надо?

— Четыре дня и один час, — ехидно говорит Оскарик. — День в порядок приводить, три дня бегать, просить и час печатать.

— Спокойней, — говорит Виктор Палыч. — Спокойно, Оскар Гивич. Впрочем, я не возражаю, если вместо расчетов вы возьметесь за реконструкцию нашей копировки и закупку оборудования… Не хотите ли?

— Не хочу, — говорит Оскар.

— Вот и никто не хочет, — говорит Земченков. — И приходится все Льву Ефимовичу делать, да и мне еще ему помогать. А он и Лев, да не Толстой, и Ефимович, да не Репин. Сами знаете, кто он. Ни написать, ни нарисовать действующего оборудования не может. А так бы хорошо было! Так вот, значит, экземплярчики мне на стол. С визой ваших обоих руководителей. И Фоменко, и Месропяна. Семинар у нас до февраля расписан, так мы проведем внеочередной. В отделе у Благовещенского. Тем более что и стенд его вам подходит. Устраивает?

— Устраивает, — говорим.

Вот. И стали нас с Оскариком причесывать. И не в четыре дня мы Земченкову расчеты на стол положили, а и четырех месяцев нам не хватило. Месропян, тот сразу сказал, что это не по его части, его другие вещи занимают. А Фоменко, Оскариков руководитель, так в нас вцепился, что пух и перья полетели. И нащупал он у нас, злодей, спасибо ему, слабину в математике. Топтались мы, топтались, только Иван Сулейменов выручил. Знаете его? Сунул он нас носом в казахский ежегодник, дай бог памяти, года семьдесят восьмого или девятого. Старина!.. Но там примерно такое же преобразование рассматривалось, только не с теми граничными условиями. Очень нам помог Владик Пшибышевич, его нам помощник Земченкова сосватал. Доктор. Вот человек-танк! Если у меня в мозгу и были ребра, так он их сокрушил. «Вы, — говорит, — Александр Петрович, совершенно правы. Но не в этом вопросе…»

Ну, чем кончилось, вы сами знаете. Встала против нас геофизика с экологией. Вы что же это, мол, электрончик раздели, зарядчик черт те во что превратили, употребили, а чем компенсировать будете? Ах от Земли? Раз от Земли, два от Земли, а потом что? Положительный заряд планете сообщать задумали. Не пойдет. Нарушение природного равновесия. Космологическая проблема. Вот ее-то Махалайнен и решил. Казалось бы, проще простого. Он с протонов предложил снимать положительный заряд. Процесс дороже нашего раза в четыре, но без него никуда. Так мы втроем Нобелевскую премию и получали: Махалайнен,

Оскарик и я. Помню, встретился я с Махалайненом в Хельсинки в первый раз. Я как-то привык, что мы все молодые, поглядели на него и — как с разбегу в стенку! Семидесятилетний старец, брови серебряные, борода лопатой. «Здравствуйте, — говорит, — Александр Петрович, — а меня все Санькой звали, и я сам себя так звал, — очень рад с вами познакомиться. Давно желал, думал, не успею. И вот успел. Рад, сердечно рад». Потом понял, и в краску меня ударило. До этого я вообще не задумывался, может ли человек чего-то не успеть. А сейчас уже и сам подумываю: «Вот этого я не успею. Вот это вряд ли увижу. А то успею — только поднавалиться бы надо». И выходит, что очень многого я не успею, потому что, если по-настоящему дело делать, в нашей науке за всю жизнь больше ста метров и не замостить. Так-то, молодые люди. Ведь до запуска первой полноценной промышленной стоп-спин-станции мощностью девятьсот мегаватт — уж так нам экология определила — не год прошел, не пять, а двадцать четыре года, как одна копеечка. И все двадцать четыре года крутились мы с этим делом, как белочки. И стоила эта работа не семь миллионов рублей на круг, как мы с Оскариком прикинули, не четырнадцать, как выдал нам Земченков для сбития спеси, а триста двадцать два миллиона шестьсот семьдесят тысяч карбованцев. И на что ушла каждая тысяча, я, Балаев, помню. Ох, как помню! А вот профессор Махалайнен красоточки нашей и не увидал. Не успел.

Так что, молодые люди, вы мне не говорите: «Вот вам, Александр Петрович, вектор, вот вам сектор, дайте нам полтора миллиона, и через год будет у вас, — это у меня, значит, — вон я какой царь Дадон! — антигравитация». Расчетики свои вы передайте Семену Григорьевичу. Если хотите, сразу. Сами знаете, кто он. Ни написать, ни нарисовать действующего оборудования не может. Размножьте, раздайте по отделам, готовьтесь. Как будете готовы, я внеочередной семинар назначу. Это я вам твердо обещаю.

А пока, простите, дела. Надо тут с капитальными затратами поколдовать маленько да хоть часть писем разобрать. Вон их какая папка! Может, выдумаете машину, чтобы письма разбирала за меня, а? Ну то-то.

1977, № 11
Агоп Мелконян
ВЕТКА СПЕЛЫХ ЧЕРЕШЕН

Рис. Р. Авотина

Он шествует к огромному дереву с прозрачными желтыми листьями, по пестрому ковру из света и тени, к овалу стоячих светло-зеленых вод, пронизанных копьями тростника и лучами. Там водные змеи — точно светло-коричневые полосы на дне — и лягушки стерегут свои тайны, которые он хотел бы раскрыть, как хотел бы взять это размытое округлое пятно с поверхности пруда

и унести с собою туда, куда он уйдет. Скрыться в тени запруды, ощутить спиною холодноватые прикосновения ящерицы, а после достать из кармана размытое округлое пятно, поднести к губам и дунуть. Оно рассыплется на миллион парашютиков одуванчика, песнь скворца подхватит парашютики, вознесет к синему покрову небес и растворит в синеве.

И тогда появится тот самый знакомец. Лицо у него цвета раскаленного железа, усталые от бессонницы глаза, и вечно он держит в руках ветку спелых черешен.

— Как тебя зовут? — спросит его мальчик.

— Васко!

— Ну и ну! И я Васко.

Знакомец двинется по косогору, слегка согнувшись вперед, искривленный, как зеркальное колечко под часами в комнате учителя, поскольку путь неблизок и предстоит шагать да шагать. Ступни его оставят широкие следы на светло-коричневом песке, мальчик прикоснется к следу, и в жесте его просквозят усталость, боль, тяжкая привязанность.

— Эй, дяденька, постой! — окликнет мальчик человека с усталыми от бессонницы глазами. — А почему и меня не возьмешь с собой?

Но знакомец будет все отдаляться, светлеть, будто сжигаемый зноем, поскольку неблизок путь и предстоит шагать да шагать.

Лживые кванты

Мальчик идет по дороге к селу, горы изнывают в безветрии, и небеса темнеют, как засыхающая капля чернил. Что-то его влечет к дому с колодцем и крупными розами, устало поникшими в ту сторону, где берег речки. У ворот приютилась женщина в выцветшем платке, с опущенными на колени руками, лицо ее, цвета березовой коры, застыло в тревоге. Глаза недвижны, в груди поселилась боль, которая не может выйти наружу и кинуться — корчащаяся в безумье — к реке. Женщина молчит, ибо не существует, она еще не нужна, еще мертвы и застывши дома, колодец и тропинка к нему, розы и кролик во дворе. Пока что все это лишь мелкие зерна серебряного хлорида — темные, более светлые, белые, — беспорядочно рассыпанные по целлулоиду, тихие, прилежные, готовые заблестеть в красивом обмане. Пока что все это лишь консервированная иллюзия, которая способна породить мир, исполненный нежности, заботы, укоризны. Отсветы и тени окружат мальчика, и он окунется в них, он поверит в призрачное соприкосновение, примет иллюзорную реальность, свыкнется с псевдообъемностью — тогда, когда сольются правда и вымысел.

— Мальчик приближается к территории эксперимента, — говорит Старший конструктор. — Привести аппаратуру в готовность. Пусть в этот вечер охотник убьет волка, и вообще — да будет хороший конец.

— Все понятно, — отвечает Дежурный.

— Если за семь дней его организм не отторгнет генный заряд, мы сможем спокойно докладывать об успехе.

— Семь дней не так уж мало, шеф. Включаю!

— Мама, ты ведь не сердишься, что я запоздал?

— Нет, мой малыш.

— Дежурный, сделай голос теплее, вспомни, каким голосом говорят матери! Подчеркни гармоники озабоченности.

— Иди, знаешь, какую вкусную картошку я нынче пожарила, ты себе пальчики оближешь.

— А сказку перед сном расскажешь?

— Дежурный, расфокусируй немного глаза женщины, чтобы выглядели прослезенными. Тогда дети становятся другими.

— Конечно, расскажу тебе одну веселую сказку, но сперва поешь. Про Красную Шапочку ты вроде бы не знаешь, а?

— Нет. А я тебя люблю!

Зернышки ожили, трепещут в живом кристалле, иллюзии текут по тысячам тонких световодов, и лазеры превращают их в

явь. Танцуют многоцветные спирали, сплетаются, расплетаются, превращаются в прозрачные конусы, пестрые и привлекательные, как поделки народных умельцев. Волны и поля покорны воле компьютера, пред глазами камер, зеркал и резонаторов разыгрывается голографическое действо, интегральные излучатели жестоко правдоподобны, и кванты моделируют мирозданье площадью в двадцать квадратных метров, где обитает добрая женщина из зернышек серебряного хлорида и мальчик с евгеничным зарядом.

— Пусть женщина его не целует, мальчик уснул. Отключи аппаратуру, — говорит Старший конструктор. — Оставь включенным только амнезатор!

Монолог Старшего конструктора

Он должен забыть обо всем. Завтра ему снова предстоит открыть лес возле института, реку, мосток, будто он никогда здесь и не бывал. Времена подопытных кроликов миновали, и я не знаю самопризнания жестче, чем это. Он никогда не простит мне ложь, голографическую мать, синтезированную любовь. Но я не знаю, перед кем в большем долгу — перед малышом или перед тысячами детей, которые появляются на свет с наследственными уродствами, генетично обремененные и обреченные. Их можно спасти посредством генного заряда от здоровых людей, и это единственный способ борьбы с несовместимостью, единственный способ преодолеть генетическое насилие — да, это так, психологическое насилие. Насилие для борьбы против насилия — пойми меня, у меня нет иного выхода, ты должен доказать мою правоту.

Все было бы прекрасно, если бы не препятствие в образе дяди Васко с веткой спелых черешен. Когда он это видел, почему это намертво втиснулось в его хрупкую память, почему непобедимо? Ты должен его забыть, забыть в семь дней.

Потому что нельзя перестроить гены, не «разрядив» предварительно память. Да, это нелегко. Это на грани возможного.

Но ведь во имя жизни больных детей!

А пока спи спокойно, мой малыш, стрелка амнезатора — на делении «III». Ты должен забыть этого дядю Васко и ветку спелых черешен. Прошу тебя, малыш, забудь его. Это единственный способ снова вернуться ко мне. Я не могу иначе, я не властен над чужими детьми.

Спи, малыш, спи и позабудь.

Эксперимент

— Мама, ты ведь не сердишься, что я запоздал?

— Нет, мой малыш. Иди, знаешь, какую вкусную картошку я нынче пожарила, ты себе пальчики оближешь.

— А сказку перед сном расскажешь?

— Конечно, расскажу тебе одну веселую сказку, но сперва поешь. Про Красную Шапочку ты вроде бы не знаешь, а?

— Нет. А я тебя люблю.

И тогда неизвестно откуда появляется тот самый знакомец и останавливается у деревянных ворот. Лицо у него цвета раскаленного железа, и, как всегда, в руке ветка спелых черешен. Мальчик бросается к воротам, его босые ноги стучат по черепичным плитам, мимо роз, мимо колодца.

— Как тебя зовут? — спрашивает мальчик.

— Васко.

— Ну и ну! И я Васко.

— Дежурный, верните его немедленно.

Знакомец движется по косогору, слегка согнувшись вперед, искривленный, как зеркальное колечко под часами в доме учителя.

— Эй, дяденька! — окликает мальчик человека с усталыми от бессонницы глазами. — А почему и меня не возьмешь с собой?

— Дежурный, пусть мать закричит, пусть догонит его. Включи поперечное поле. Обычно его воспоминания останавливаются на этом месте, но ты включи поперечное поле. Он не должен соглашаться взять его с собой, мальчик не должен уходить с ним. Это же конец — мальчик не должен возвращаться к самому себе. Ты понял: не должен возвращаться.

— Эй, дяденька, а почему и меня не возьмешь с собой?

— Повысь мощность до пяти мегапсих, подними альфа-ритм. Слышишь, Дежурный, блокируй все до этой отметки!

— Эй, дяденька, а почему и меня не возьмешь с собой?

— Идем, малыш.

— Я сделал все возможное, шеф, не могу. Это уже не воспоминание. С этим нельзя бороться. Мальчик продолжил сам себя, он одолел переживание и превратил свое желание в реальность. Видите, как он протянул руку, будто кого-то держит. Будто идет с ним. Идут вдвоем — мальчик и продолженное воспоминание — и уходят. Как будто они уходят вдвоем — один рядом с другим. Потому что мальчик, как и любой человек, хочет быть только одним — самим собой. Значит, снова — в поиск!

Перевела Л. Павлик

1977, № 12
Сергей Смирнов
ЗЕРКАЛО

Рис. Розы Мусихиной

Когда Андрею Северину сказали, что набрана новая группа для работы на Горгоне и что подготовка этой группы проводится по особой программе, он только усмехнулся и махнул рукой. Так или иначе на пятый, от силы на восьмой день работы станция превратится в сумасшедший дом. Кто-нибудь наверняка будет кататься в истерике по полу, остальные будут близки к этому. Потом прилетит беспилотный космолет и увезет всех на Землю. К

тому времени геройские лица новых удальцов, как и тех, которые были до них, изрядно потускнеют. Горгона — это Горгона. Здесь в самом деле от нервной перегрузки можно окаменеть.

По сути дела, на Горгоне только и занимались исследованием непонятных эффектов и искали причину их воздействия на человека. Точнее, искали то НЕЧТО, что вызывает кошмары и каким образом ОНО это делает. Про сами кошмары уже известно практически все. Это были галлюцинации, сновидения наяву. Поначалу думали, что все эти чудеса реальны, но их не «засекали» никакие приборы, значит, они обман, иллюзия. Но какой обман! Обман всех чувств, вплоть до осязания. Рука, протянутая к «призраку», не проходила сквозь него, но наталкивалась на предмет, и вдобавок нужно было приложить усилие, чтобы сдвинуть его с места. Трагических исходов, правда, никогда не было, и, видимо, их и не могло быть.

Однако это ненамного облегчало жизнь людей на Горгоне. Попробуйте не облиться холодным потом, когда какое-нибудь фантастическое чудище, материализовавшееся из воздуха, словно только за тем и появлялось, чтобы напугать до смерти. Более девяти дней не выдерживал никто. Никто, кроме Андрея Северина. Это тоже была одна из тайн Горгоны — «феномен Северина», загадка для всех, в том числе для него самого. Никто не мог понять, как мог он проработать на Горгоне уже больше года и просто-напросто ни разу не испугаться, когда все остальные, а их перебывало на Горгоне с полсотни, буквально выходили из строя, нервы не выдерживали.

Подготовка новой группы несколько затянулась. Отпуск Андрея продлился почти на неделю. Это его не удивило. Но когда его отправили на Горгону одного и сказали, что остальные прилетят следом, на другой день, тут уж он был и вправду заинтригован И потому при встрече с группой изучал лица ребят гораздо более внимательно, чем раньше. Однако никаких особенных впечатлений у него не осталось. Лица как лица, немного напряженнее и суровее, чем у других. Он заметил: они старались как-то избегать его, отводили взгляды при встрече. Словно им было неудобно жить рядом с ним, словно они в чем-то виноваты перед ним и теперь стеснялись извиниться, словно знали и боялись сообщить ему какую-то неприятную новость, касающуюся только его…

…На следующий день утром командир группы Саша Бортников принял «боевое крещение». Андрей был с ним в операторской, когда появился искрящийся шар с огромным, выпуклым глазом. Шар подлетел сначала к Андрею и долго, не мигая, глядел на него. Он отодвинул шар в сторону, и тот поплыл

к Александру. Андрей перестал работать и начал наблюдать. Шар свалился командиру прямо на руки, и он — вот это да! — даже не вздрогнул, а только брезгливо шлепнул шар ладонью, так что он отлетел под стол и исчез.

Андрей был поражен: новичок даже не вспомнил о таблетках антигала.

…Вечером они сидели в «гостиной». Вдруг локоть одного из ребят, Виктора, соскочил со стола, и на пол брызнул кофе. Виктор побледнел, испуганно взглянул на Андрея.

— Андрей Владимирович, извините. Случайно.

Андрей вздрогнул. Что за абсурд…

Но все смотрели на него, вся группа. Совершенно серьезные лица. Они словно опасливо ожидали, что он скажет. Андрей засмеялся.

— Да вы просто с ума посходили!

Прошло несколько дней. Ребята работали неплохо. Андрей радовался, но странное беспокойство не покидало его.

Однажды он долго не мог заснуть, выпил антигал… Все думал о причинах завидной храбрости ребят из нового отряда, о разных мелочах, которые нет-нет да и проскальзывали в их поведении. Наконец он понял, что где-то в глубине души начинает бояться этих парней. Может быть, он действительно изменился здесь, на Горгоне, приспособился к ней… но перестал понимать людей?

…День третий. Щупальце осьминога висело в воздухе у выхода из операторской и свивалось в кольца.

— Недурно, — сказал Андрей.

Щупальце словно сообразило, что с Андреем ей не справиться, и поплыло к Александру. Тот, не отрываясь от дела, дважды отодвинул его в сторону, но это не помогло. Тогда Саша ловко поймал его и, не выпуская, продолжал работать.

— Здорово ты его, — проговорил Андрей медленно, с расстановкой, еще сомневаясь, стоит ли начинать разговор.

— А что? — Саша продолжал писать в журнале.

— Да ничего. Так. Не противно?

Саша пожал плечами.

— А тебе? Ты ведь с этой ерундой целый год возишься.

И Андрей где-то в глубине души почувствовал, как это в самом деле должно быть неприятно и жутко.

Он хотел заняться своим делом, как вдруг кровь ударила в голову, и он в испуге отшатнулся.

То была крыса, обычная крыса, прошмыгнувшая по пульту и задевшая руку Андрея.

Через десять минут Андрей был в радиорубке. Он дождался

момента, когда его никто не мог услышать, и включил передатчик.

— Голованов слушает, — раздался из динамика привычный голос.

— Игорек, — Андрей придвинулся ближе, чтобы говорить потише, — присылай корабль, и чем скорее, тем лучше.

— Что-то случилось с группой? — тревожно спросил Игорь.

— Нет. Ребята молодцы, им все нипочем. Зато я готов. Дня больше не выдержу. Все. Кончено.

— Да брось ты! — Игорь, кажется, вздохнул. — Вот уж никогда не поверю.

— Я серьезно говорю, Игорек. Если не пришлете корабль, мне уже никто и ничто не поможет. Ясно?

— Ясно, — послышалось из динамика. — Будет корабль.

Одной ночи хватило Андрею, чтобы наверстать все за год. Он проглотил полпачки антигала и к утру измотался совершенно. Ему помогли добраться до трапа. Славные ребята. Они были удивлены. Глядя на них, Андрей начал смутно понимать источник своего бесстрашия. Год назад что-то сработало в его сознании, и он перестал бояться кошмаров Горгоны… пока страшно было другим. Чем больше беспокоились другие, тем безразличнее относился он ко всем этим призракам. Может быть, потому, что знал: кому-то ведь нужно держаться.

Секрет Горгоны наконец открылся. Оказалось, что причина галлюцинаций не таинственное излучение — два года искали не там, где надо, — а летучие масла, выделяемые невесомыми спорами мхов, которых здесь было полным-полно. Несколько молекул достаточно, чтобы оказать заметное воздействие.

…Андрей вырвался в Центр раньше срока: к прилету на Землю ребят с Горгоны. Чтобы узнать подробности. Однако сначала ему пришлось рассказать Симагину, руководителю исследований на Горгоне, о своих злоключениях, его срыв произвел в Центре впечатление не меньшее, чем разгадка тайны Горгоны.

За два месяца, однако, Сергей успел хорошо отдохнуть и сейчас выглядел так, как будто снова готов был отбыть на планету.

— Похоже, мы и вправду кое-что не учли. Не думали, что поведение ребят выбьет тебя из колеи, — признался Симагин. — Решили, что можно скрыть от тебя на время то состояние, в котором они пребывали. А готовились они действительно необычно: полгода сурового аутотренинга, практически самогипноза. Перед отправкой на Горгону они просто внушили себе, что все эти «призраки» необходимая принадлежность жизни,

быта. Вот и все.

— И они не помнят теперь, что творилось с ними на Горгоне? — спросил Андрей.

— Воспоминания самые отрывочные, — ответил Симагин. — Обидно вроде, но ничего не поделаешь. Нужно было войти в чужой мир не оглядываясь.

Андрей усмехнулся.

— Победить, приняв, на время признав врага?.. Нет, честное слово, я не сорвался бы, если бы они стали ломать стулья или сказали, что не смогут со мной работать.

Андрей умолк.

В этот момент дверь открылась, и вошел Александр Бортников, руководитель группы, работавшей на Горгоне.

— А, Саша, — Симагин улыбнулся. — Знакомься со знаменитым Севериным.

Андрей взглянул на своего шефа, и принял игру.

— Андрей. — Он протянул руку.

— Александр, — представился Бортников. — У меня такое ощущение, будто я когда-то случайно с вами сталкивался.

— Вряд ли, — усмехнулся Андрей. — Я-то точно впервые вас вижу.

notes

Примечания

1

Трехтомник избранных произведений Ивана Ефремова. Издательство «Молодая гвардия», 1975.